Роберт Стивенсон

Клад под развалинами Франшарского монастыря

Роберт Льюис Стивенсон
Клад под развалинами Франшарского монастыря

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6661803

Аннотация

«Послали за доктором в Буррон, когда еще не было шести; около восьми крестьяне стали сходиться, чтобы посмотреть на предполагавшееся представление; им сообщили о случившемся, и они стали расходиться по домам, весьма недовольные тем, что какой-то паяц позволил себе вольность заболеть как настоящие порядочные люди. В десять часов госпожа Тентальон серьезно встревожилась и, не дождавшись доктора из Буррона, пошла за доктором Депрэ, жившим здесь поблизости…»

Содержание

Глава I. Подле умирающего паяца 5
Глава II. Утренняя беседа 13
Глава III. Усыновление 26
Глава IV.Воспитание философа 42
Глава V. Находка клада 64
Глава VI. Двойное следствие 91
Глава VII. О том, как обрушился дом Депрэ 113
Глава VIII. Вознаграждение философии 131

Роберт Стивенсон
Клад под развалинами Франшарского монастыря

* * *

Глава I. Подле умирающего паяца

Послали за доктором в Буррон, когда еще не было шести; около восьми крестьяне стали сходиться, чтобы посмотреть на предполагавшееся представление; им сообщили о случившемся, и они стали расходиться по домам, весьма недовольные тем, что какой-то паяц позволил себе вольность заболеть как настоящие порядочные люди. В десять часов госпожа Тентальон серьезно встревожилась и, не дождавшись доктора из Буррона, пошла за доктором Депрэ, жившим здесь поблизости.

Доктор сидел за работой над своими рукописями в одном конце небольшой столовой, а его жена мирно спала в кресле перед камином в другом конце, в то время когда явился посланный.

– О, черт возьми! – воскликнул доктор. – Следовало послать за мной раньше. В таких случаях нельзя медлить!

И он последовал за посланным в том, в чем он был, то есть в туфлях и ермолке.

Гостиница находилась всего в каких-нибудь тридцати шагах от его дома, но посланный не остановился у самой гостиницы, а, войдя в одну дверь, вышел в другую на задний двор, а затем пошел вперед, указывая доктору дорогу, вверх по узкой деревянной лесенке, подле конюшен, на чердак, служивший иногда сеновалом, где лежал больной паяц.

Если бы доктор Депрэ прожил тысячу лет, то и тогда он не забыл бы того момента, когда он вошел в это помещение. Представившаяся его глазам картина была не только живописна и необычайна, но она запечатлелась в его памяти, и момент этот стал как бы событием в его жизни. Мы обыкновенно вспоминаем свою жизнь – не знаю почему – с первой нашей неудачи в обществе, так сказать, с первого нашего ощущения чувства унижения. Не заглядывая дальше назад, что могло бы быть сочтено за излишнее любопытство, хотя в жизни каждого человека бывает немало таких потрясающих и знаменательных случаев, которые могут считаться столь же важными эпохами жизни, как и факт рождения, – мы только скажем, что доктор Депрэ, которому было уже за сорок лет и который сделал не одну ошибку в своей жизни и был даже женат, отворив дверь этой каморки на чердаке над конюшнями госпожи Тентальон, вступил в новый период своей жизни. Каморка эта была довольно большая, но почти совершенно пустая, освещенная всего только одной свечкой, стоящей на полу. Больной паяц лежал на спине на жалкой узкой койке. Это был крупного роста мужчина, с длинным, тонким, покрасневшим от пьянства носом, придававшим его физиономии что-то напоминавшее Дон-Кихота. Госпожа Тентальон наклонилась над ним и прикладывала ему к ногам горячие бутылки и горчичники, а на стуле подле постели больного сидел мальчуган лет одиннадцати или двенадцати, тихонько болтая ногами в воздухе. В комнате, кро-

ме этих трех лиц, никого больше не было, если не считать теней. Но тени представляли собой свою собственную тесную компанию: благодаря размерам помещения, тени удлинялись и увеличивались до невероятных, гигантских размеров, а благодаря тому, что свеча стояла на полу и свет падал вверх, получались уродливые ракурсы. Резкий профиль паяца вырисовывался на стене в увеличенном карикатурном виде, и забавно было видеть, как его нос на тени то укорачивался, то удлинялся, в зависимости от того, как колебалось от ветра пламя свечи. Что же касается госпожи Тентальон, то ее тень представляла собой просто громадное бесформенное пятно с закруглением плеч, над которыми время от времени появлялось полушарие громадной головы. Ножки стула, на котором сидел мальчуган, вытянулись, точно высокие ходули, а мальчик на них представлялся просто в виде туманного облачка в самом дальнем углу под крышей.

Этот мальчик сразу привлек внимание доктора и с первой же минуты овладел его воображением. У него был крупный, хорошо развитой череп, а лоб и руки как у музыкантов, и при этом такие глаза, которые преследуют вас долго после того, как вы их видели, глаза, которые долго не забываются. И не потому, что они были особенно красивы, не потому, что они были большие, смотрящие в упор, прекраснейшего золотисто-карего цвета, нет, но у них был такой взгляд, который точно пронизывал вас, и доктор испытывал от него какую-то неловкость, чувствовал себя как-то не по себе. Он

был уверен, что уже раз когда-то видел именно такой взгляд, но никак не мог вспомнить, где и когда. Как будто у этого мальчика, который был ему совершенно чужой, которого он видел в первый раз в жизни, были глаза его давнишнего друга или старого недруга. И этот мальчик не давал ему покоя; он казался глубоко равнодушным ко всему, что происходило здесь вокруг него, или же поглощен какими-то более серьезными размышлениями. Спокойно сложив руки на коленях, он слегка постукивал медленно болтающимися ногами о перекладину стула, на котором сидел; но при этом глаза его неотступно следили за доктором, следуя за ним по комнате, провожая каждое его движение вдумчивым, настойчивым взглядом. Депрэ не мог решить, он ли гипнотизировал мальчугана или же мальчуган гипнотизировал его. Он склонялся над больным, щупал его пульс, расспрашивал о симптомах, о ходе болезни, шутил, слегка горячился, даже выругался раза два, но что бы он ни делал, когда бы он ни обернулся, он всякий раз встречал вопрошающий взгляд печальных карих глаз мальчугана.

Наконец доктор как-то разом напал на решение мучившего его вопроса: он вдруг вспомнил, почему ему были так странно знакомы глаза этого мальчика. Хотя он был прям как струна и во всей его фигуре не было ни малейшего признака какой-либо уродливости, но глаза у него были такие, какие обыкновенно бывают у горбатых. Это был вполне нормально сложенный мальчик, но когда он смотрел на вас, вам каза-

лось, что на вас смотрит горбун. Доктор облегченно вздохнул, он испытывал удовлетворение при мысли, что нашел подтверждение своей теории (а к теориям он имел положительное пристрастие) и теперь мог себе объяснить причину, почему этот мальчик так заинтересовал его.

Однако, несмотря на это, он с необычайной поспешностью постарался поскорее отделаться от больного, и, все еще стоя одним коленом на полу у постели паяца, обернулся вполоборота и не стесняясь стал смотреть на мальчика.

Это нимало не сконфузило мальчугана, который в свою очередь совершенно спокойно смотрел на доктора.

– Это твой отец? – спросил он наконец.

– Ах, нет! – отозвался мальчик. – Это мой хозяин.

– Любишь ты его? – продолжал Депрэ.

– Нет, сударь, – ответил ребенок.

Госпожа Тентальон и доктор переглянулись при этом, и затем последний продолжал, обращаясь опять же к мальчику:

– И тебе его не жаль?

– Нет, – последовал ответ.

– Это дурно, мой милый, – сказал доктор несколько сурово и наставительно, – дурно, потому что всякий человек должен жалеть умирающего или же скрывать свои чувства, а твой хозяин умирает теперь. Если я иной раз всего несколько минут наблюдаю, как какая-нибудь маленькая птичка расклевывает вишни в моем саду, я уже жалею ее, когда она

вспорхнет и улетит за ограду моего сада, и полетит в лес и скроется там, – жалею, потому что больше не увижу ее. А здесь от нас уходит человек, существо сильное, осмысленное, проницательное, так богато одаренное всякими чувствами и способностями! Когда я только подумаю, что через несколько часов его уста умолкнут навсегда, что дыхание его прекратится и замрет, и что даже тень его с этой стены безвозвратно исчезнет, я, никогда не видевший его до этого часа, и вот эта женщина, знавшая его только как своего постояльца, мы оба печалимся и жалеем его…

Мальчик некоторое время молчал и как будто размышлял про себя.

– Вы его не знали, – сказал он наконец, – он был нехороший человек.

– Экий маленький нехристь! – промолвила хозяйка. – Впрочем, все они такие, – добавила она, – все эти паяцы, акробаты, канатные плясуны и всякие такие артисты – нет у них нутра!.. Бесчувственные какие-то!

А доктор, сдвинув брови, продолжал внимательно вглядываться в этого маленького нехристя.

– А как тебя зовут? – спросил он.

– Жан-Мари, – сказал мальчуган.

Депрэ подскочил к нему со свойственной ему порывистой живостью и возбужденностью и принялся ощупывать его череп со всех сторон, как это сделал бы френолог или этнолог.

– Кельт! Кельт! Несомненный кельт! – пробормотал он.

– Кельт! – повторила за ним и госпожа Тентальон, вероятно, принявшая это слово за синоним гидроцефалии, и полагая, что речь идет о головной водянке, добавила: – Бедный ребенок! А что, это опасно?

– Это зависит от обстоятельств, как когда! – почти угрюмо ответил доктор и затем снова обратился к мальчику: – А как ты жил до сих пор? Что ты делал ради своего пропитания, Жан-Мари?

– Я кувыркался, – ответил он.

– Так! Кувыркался? – повторил за ним Депрэ. – Вероятно, это здорово. Я предполагаю, госпожа Тентальон, что кувыркаться – это весьма полезный для здоровья образ жизни. И что же, ты никогда ничего другого в своей жизни не делал, как все только кувыркался?

– Прежде чем я научился этому, я воровал, – сказал Жан-Мари совершенно серьезно, даже с некоторой важностью.

– Даю слово, что ты для своих лет удивительный человечек! – сказал Депрэ и затем обратился к хозяйке гостиницы: – Сударыня, когда приедет мой коллега из Буррона, потрудитесь передать ему мое мнение относительно больного. Я считаю его положение безнадежным, но, во всяком случае, предоставляю все на полное усмотрение коллеги. Конечно, в случае, если появятся какие-нибудь угрожающие симптомы до прибытия врача, ради Бога, не стесняйтесь разбудить меня, я сейчас же явлюсь. Хотя я, слава Богу, теперь уже не доктор, то есть не практикующий врач, но я был им ко-

гда-то… Покойной ночи, госпожа Тентальон, покойной ночи! Спи спокойно, Жан-Мари!

Глава II. Утренняя беседа

Доктор Депрэ всегда вставал рано. Раньше, чем покажется первый дымок из трубы в целой деревне, раньше, чем прогремит на мосту первая телега, возвещая начало рабочего дня на полях, уже можно было видеть, как он бродил по саду около своего дома. То сорвет гроздь винограда, то, остановившись под деревом, с аппетитом уплетает огромную сочную грушу, только что сорванную со шпалер, а не то сидит себе на скамеечке и рисует на песке дорожки самые причудливые фантастические линии и разводы концом своей тросточки. А то пойдет вниз к реке и станет смотреть, как она безостановочно бежит мимо того места, где складывают в штабеля доски с лесопильного завода. Здесь он обыкновенно привязывал свою лодку.

– Нет лучшего времени, – говаривал он, – как раннее утро для создания теорий и всякого иного размышления. Я, – хвастался он, – встаю раньше всех во всей деревне и вследствие этого знаю больше других, но меньше других злоупотребляю тем, что знаю.

Благодаря этой своей привычке вставать рано доктор стал настоящим знатоком восходов и любил, чтобы его день начинался красивым театральным эффектом. Он создал свою теорию рос, по которой он мог предсказывать погоду. В сущности, почти все служило ему для этой цели: и звук коло-

кольного звона со всех церквей соседних деревень, и благоухание леса, и прилет и отлет птиц, и само поведение этих пернатых и даже рыб, и вид растений у него в саду, и состояние облаков у него над головой, и цвет восхода и заката, и, наконец, тому же служил и целый арсенал метеорологических инструментов, хранившихся в ларе под навесом, на лужайке в саду. С тех самых пор как он поселился и обосновался в Гретце, он превращался все более и более в местного метеоролога и бескорыстного безвозмездного пропагандиста местного климата, который он восхвалял и превозносил при всяком удобном случае. Вначале он считал, что нет места более здорового во всей этой округе, но к концу второго года его пребывания здесь он уже стал утверждать, что не было более здорового места во всем департаменте, то есть во всей провинции, а за некоторое время до того, как он столкнулся с маленьким Жаном-Мари, он готов был бросить вызов не только всей Франции, но и большей части Европы в том, что нигде не найдется местечка лучше по своим климатическим условиям, чем возлюбленная его деревенька Гретц.

– «Доктор», – говаривал он, – скверное слово! Его не следовало бы произносить при дамах, оно вызывает представление о болезнях. Но я замечал, и это настоящий бич нашей цивилизации, что мы недостаточно ненавидим болезни, не питаем к ним надлежащего отвращения. Что касается меня, то я омыл свои руки и отказался от почетного звания и обязанностей врача; я уже, слава Богу, не доктор больше, я

просто ревностный поклонник и почитатель единой истинной богини Гигиен. И верьте мне, это она владеет венериным поясом! И здесь, в этой маленькой деревушке, она воздвигла свой храм; здесь она пребывает неизменно и щедрой рукой расточает людям свои дары. Здесь я каждое утро, рано на заре, гуляю в ее обществе, и она указывает мне на крестьян, которых она сделала такими сильными и здоровыми, на поля, которые она сделала такими плодородными, на деревья, которым она дала такую пышность и красоту, на рыбок, таких веселых, проворных и опрятных, резвящихся в реке. Ревматизм! – восклицал он, когда какой-нибудь невежа позволял себе прервать его хвалебный гимн каким-нибудь неуместным замечанием относительно кое-каких погрешностей в его словах. – О да, не спорю, у нас встречаются люди, жалующиеся на ревматизм, но ведь это же совершенно неизбежно, как вы сами понимаете, когда живешь над самой рекой. Ну, а кроме того, место здесь несколько низкое, луга болотистые, в этом нет никакого сомнения, но вы взгляните, сударь мой, на Буррон! Буррон лежит высоко, Буррон кругом в лесах и, следовательно, получает со всех сторон приток озона, скажете вы, да!? Ну, а сравните его с Гретцем! Буррон против нашего места, что мясные ряды против благоуханного сада, вот что я вам доложу! Да-с, сударь мой!

Наутро после того дня, когда его призывали к постели умирающего паяца, доктор Депрэ пошел к своей пристаньке в конце сада и долго смотрел на быстротечную воду реки.

Это он называл своей утренней молитвой. Но возносились ли его мысли в это время к возлюбленной им богине Гигиен, или к другому, более ортодоксальному божеству, оставалось невыясненным. Сам он выражался довольно загадочно на этот счет; иногда он, например, говорил, что река является прообразом телесного здравия, а в другой раз он горячо распространялся о том, что река – это величайший учитель и наставник, непрестанно проповедующий людям высокую мораль, непрестанно учащий их мирному усердному труду, душевному спокойствию и безропотной настойчивости, умиротворяющий мечущийся ум и дух человеческий. Пройдя около мили вдоль реки и любуясь светлой, прозрачной водой, весело бегущей вперед и вперед у него перед глазами, полюбовавшись двумя-тремя рыбами, сверкнувшими на мгновение своей серебристой чешуей над поверхностью воды, и вдосталь наглядевшись на длинные, точно кружевные тени от деревьев, растущих на противоположном берегу, протянувшиеся далеко вперед, чуть не до самой середины реки, и засмотревшись на яркие солнечные блики в просветах этих теней, блики, двигавшиеся и дрожавшие на воде, доктор пошел наконец обратно через весь сад к дому, а пройдя через дом, вышел на улицу. Он чувствовал себя освеженным, бодрым и обновленным, как бы помолодевшим.

Звук его шагов по мощеной улице деревни обыкновенно начинал собою рабочий день в Гретце. Сейчас все население еще спало, кругом было как-то особенно тихо. Освещенная

первыми лучами солнца церковная колокольня казалась особенно стройной и воздушной; несколько птиц, кружившихся вокруг нее, казались плавающими в голубом эфире, более чистом и прозрачном, чем обыкновенно. Медленно шествуя по улице, доктор с особым наслаждением вдыхал в себя чистый воздух и чувствовал себя благодушно настроенным и довольным этим прекрасным, радостным утром, которое как будто улыбалось ему.

На одной из тумб, стоящих по обе стороны ворот гостиницы госпожи Тентальон, доктор заметил маленькую, темную фигуру, сидевшую неподвижно в созерцательной позе, и сразу узнал в ней своего вчерашнего знакомца, Жана-Мари.

– А-а! – сказал он, подходя к мальчугану, и, остановившись против него, оперся обеими руками на свои колени и с добродушным любопытством посмотрел ему в лицо. – Видите ли, как мы рано встаем! Прекрасно! Как видно, мы страдаем всеми недостатками настоящего философа.

Мальчик соскочил с тумбы и серьезно и вежливо раскланялся.

– Ну, как наш больной сегодня? – спросил Депрэ.

Оказалось, что больной находился все в том же положении, как и вчера.

– Так, – сказал доктор, – а теперь скажи мне, зачем ты так рано встаешь?

После довольно продолжительного молчания Жан-Мари ответил, что он сам этого хорошенько не знает и потому не

может сказать, зачем он рано встает.

– Так-так, – подтвердил доктор, – ты и сам не знаешь зачем, да и все мы едва ли что-нибудь знаем толком, прежде чем не постараемся это узнать, а чтобы узнать, почему и зачем мы что-нибудь делаем, надо спросить себя об этом. Ну-ка, попробуй себя спросить, подумай и скажи мне, как тебе кажется… Может быть, тебе нравится рано вставать?

– Да, нравится! – не спеша сказал мальчик. – Да, мне нравится, – повторил он еще раз, уже совершенно уверенно.

– Ну, ну, – ободрял его доктор, – а теперь скажи мне, почему тебе это нравится? Заметь, что мы с тобой теперь следуем методу Сократа, – вставил он, – итак, спроси себя, почему тебе нравится вставать рано?

– Крутом так тихо, так спокойно, – ответил Жан-Мари, – у меня в это время нет никакого дела, а затем, когда так тихо и никого нет кругом, чувствуется, как будто ты хороший.

Депрэ усмехнулся и сел на другую тумбу, по ту сторону ворот. Его начинал интересовать этот разговор с мальчуганом; Жан-Мари отвечал и говорил не наобум, а подумав, и старался на каждый вопрос ответить правдиво и по совести.

– Ты, как я вижу, испытываешь удовольствие чувствовать себя хорошим, – заметил доктор, – и признаюсь, это меня крайне удивляет; ведь ты же сам говорил мне вчера, что раньше ты воровал, а эти две вещи не вяжутся вместе – быть хорошим и воровать.

– А разве воровать так уж очень дурно? – спросил Жан-

Мари.

– Да, таково по крайней мере общее мнение, мой милый друг, – ответил наставительно и слегка насмешливо доктор.

– Нет, вы меня не совсем поняли, – заметил мальчик, – я хотел вас спросить, так ли уж дурно воровать так, как я воровал, – пояснил он. – У меня не было выбора, я был вынужден воровать. Я полагаю, что не может быть дурно, что человек хочет иметь кусок хлеба, – ведь каждому надо есть! Это такая сильная потребность, что с ней спорить нельзя! Да еще, кроме того, меня прежестоко били, когда я возвращался домой ни с чем! – добавил он. – Я уже знал тогда, что хорошо и что дурно, потому что раньше того меня многому научил один добрый священник, который относился ко мне очень хорошо и которого все люди уважали. – При слове «священник» доктор скорчил отвратительную гримасу. – Но я думал, что когда человеку есть нечего, когда у него нет куска черствого хлеба, чтобы утолить свой голод, да когда еще вдобавок его бьют нещадно, то при таких условиях воровать, пожалуй, даже позволительно. Я не стал бы красть сласти или что другое ради лакомства, по крайней мере я думаю, что не стал бы, но мне кажется, что ради куска насущного хлеба каждый стал бы воровать!

– И я так полагаю, – согласился доктор. – Ну, а после каждой кражи ты, конечно, становился на колени и просил у Господа Бога прощения и объяснял ему весьма подробно все свои обстоятельства? – слегка насмешливо добавил он, усме-

хаясь.

– Нет, к чему? – удивился Жан-Мари. – Я не видел в этом никакой надобности.

– Вот как! Ну, а твой священник наверное бы увидел эту надобность! – все в том же тоне продолжал доктор.

– Вы так думаете? Неужели? – воскликнул мальчик и впервые смутился. – А я думал, что Господу Богу и без того все известно… что он и так все знает…

– Эге, – подтрунил доктор, – так вот ты какой вольнодумец!

– Я думал, что Бог сам меня поймет, – продолжал мальчик очень серьезно, не обратив внимания на последнее замечание своего собеседника, – а вы, как я вижу, этого не думаете, но ведь и сами эти мысли мои мне Бог вложил в голову! Разве нет?

– Ах ты, мальчуган, мальчуган! – почти сокрушенно промолвил Депрэ. – Я уже сказал тебе, что в тебе гнездятся все пороки философии, но если ты еще совмещаешь в себе и все ее добродетели, то мне, старому грешнику, остается только поскорее бежать от тебя без оглядки. Я, видишь ли ты, служитель и сторонник благословенных законов здоровой нормальной природы в ее простых и обычных проявлениях, и потому не могу равнодушно и спокойно смотреть на такое чудовище, на такого нравственного уродца! Понял ты меня?

– Нет, сударь, – ответил не задумываясь Жан-Мари.

– Ну, погоди, я постараюсь разъяснить тебе то, что я хотел

сказать этими словами. Вот посмотри сперва сюда, – продолжал доктор, – видишь ты там это небо за колокольней, видишь, какое оно там светлое, бледно-бледно голубое? А теперь посмотри выше и еще выше, до самой верхушки небесного свода у тебя над головой, где небо густо-голубое, почти синее, как в полдень… Так! А теперь скажи мне, разве это не прекрасный цвет? Разве он не ласкает глаза? Не радует сердца? Мы видим это голубое небо изо дня в день в течение всей нашей жизни, мы до того свыклись, сроднились с ним, что даже наша мысль видит его таким. Но предположим, – продолжал Депрэ, переходя от любовного умиления, с каким он говорил о голубом небе, к совершенно иному тону, – предположим, что это небо вдруг бы сделалось яркого янтарно-огненного цвета, подобно цвету горячих углей, а в самом зените небесного свода огненно-красным. Я не скажу, что это было бы менее красиво, нет! Но нравилось бы оно тебе так же, как это наше голубое небо?

– Я думаю, что нет, – сказал Жан-Мари.

– И я также не мог бы его любить, – продолжал доктор несколько грубо, – я ненавижу все странное, и странных людей в особенности; а ты самый странный, самый своеобразный мальчуган, какого я когда-либо встречал в своей жизни!

Жан-Мари некоторое время молчал и как будто что-то обдумывал, а затем поднял голову и взглянул на доктора с добродушно вопрошающим видом.

– А вы сами, разве вы не чрезвычайно странный госпо-

дин? – спросил он.

Тогда доктор бросил на землю свою палку, кинулся к мальчугану, прижал его к своей груди и звонко расцеловал его в обе щеки.

– Превосходно! Бесподобно, малыш! – восклицал он. – Нет, какое прекрасное утро! Какой счастливый, какой удачный день для старого сорокадвухлетнего теоретика! А? Нет, – продолжал он, как бы обращаясь к небесам, – ведь я даже не знал, что такие мальчуганы существуют на свете! Я сомневался, чтобы род человеческий мог производить подобных индивидуумов! Вот теперь, – добавил он, подымая с земли свою палку, – эта встреча для меня точно первое любовное свидание. Я сломал свою любимую трость в момент энтузиазма, но это не беда! Можно будет поправить.

И взглянув на мальчика, он уловил на себе его взгляд, полный удивления, недоумения, смущения и даже смутной тревоги.

– Э! – воскликнул он, обращаясь к мальчугану. – Отчего ты так смотришь на меня? Право, кажется, этот малыш презирает меня, – пробормотал он в сторону. – Ты презираешь меня, что ли, мальчуган? – обратился он снова к нему.

– О нет, – отозвался Жан-Мари совершенно серьезно, – нет, но только я не понимаю вас.

– Вы должны извинить меня, сударь, – продолжал доктор с некоторой напыщенностью, – я еще слишком молод. «Черт бы его побрал!» – мысленно добавил он про себя, опять сел

на свое прежнее место и несколько насмешливо стал наблюдать за мальчиком.

«Он мне испортил это прекрасное, спокойное утро, – думал он, – теперь я буду нервничать весь день и пищеварение будет неправильное – лихорадочное, надо непременно успокоиться». И, сделав над собою усилие, он отогнал от себя все тревожившие и волновавшие или даже сколько-нибудь смущавшие его мысли тем усилием воли, к которому он давно уже приучил себя. Теперь помыслы его стали блуждать среди окружавших его знакомых и любимых предметов: он любовался и наслаждался прекрасным утром, вдыхал в себя свежий утренний воздух и с видом знатока смаковал его, как смакуют любители хорошее вино, а затем медленно выдыхал его, как то рекомендуется предписаниями гигиены; он считал маленькие облачка на небе, следил за полетом птиц вокруг церковной колокольни, мысленно описывал вместе с ними длинные, плавные взлеты и спуски, или паря в воздухе, или же проделывая удивительные воздушные сальто-мортале и рассекая воздух воображаемыми крыльями. Таким способом доктор в короткое время вернул себе прежнее спокойствие духа, животное благодушие и полное сознание своих движений, своих чувств и ощущений, сознание, что воздух имел прохладный и освежающий вкус, напоминающий вкус сочного спелого плода, и, совершенно поглощенный этими ощущениями и их мысленным анализом, он от избытка благодушного настроения запел. Он знал все-

го только один мотив – «Мальбрук в поход собрался», да и тот он знал не совсем твердо и обращался с ним довольно бесцеремонно. Впрочем, свои музыкальные таланты доктор проявлял обыкновенно только в те минуты, когда он бывал один и чувствовал себя особенно благодушно настроенным, когда он чувствовал себя, так сказать, вполне счастливым.

Но на этот раз он был довольно грубо пробужден к действительности почти болезненно огорченным выражением на лице мальчика. Он оборвал свое пение и обратился к нему с вопросом:

– Что ты думаешь о моем пении, мальчуган? Нравится оно тебе?

Мальчик молчал. Не дождавшись ответа, он повторил еще раз довольно повелительно:

– Что ты думаешь о моем пении?

– Оно мне не нравится, – пробормотал Жан-Мари.

– Вот как! – воскликнул доктор. – Может быть, ты сам певец?

– Я пою лучше, – спокойно ответил мальчик.

Доктор смотрел на него некоторое время в недоумении. Внутренне он сознавал, что сердится, по этому случаю краснел за себя, и это заставляло его еще больше сердиться.

– Если ты так же разговариваешь и со своим хозяином, – сказал он наконец, пожав плечами и подняв руки кверху, – то могу тебя только похвалить.

– Я с ним вовсе не разговариваю, – отсевался Жан-Мари, –

я его не люблю.

– Значит, меня ты любишь? – попробовал поймать его на слове доктор, и при этом в голосе его послышались необычайные живость и воодушевление.

– Не знаю, – ответил Жан-Мари.

Доктор встал – не такого он ждал ответа, и хотя он и себе в том не сознавался, но чувствовал себя как будто обиженным.

– Я пожелаю вам доброго утра, – сказал он, церемонно раскланиваясь со своим собеседником, – я вижу, что вы слишком мудры для меня. Возможно, что у вас в жилах течет кровь, а может быть, и небесный флюид, а быть может, в них не что иное, как воздух, которым мы дышим; но в одном я безусловно уверен, – это в том, что вы, сударь, не человеческое существо, говорю я вам, – добавил он, потрясая своей палкой перед носом мальчика. – Так и запишите в своей памяти: я не человеческое существо и не имею претензии быть человеческим существом; я обман, сон, ангел, загадка, иллюзия, все, что угодно, но только не человеческое существо! Итак, примите мой почтительнейший поклон, и прощайте!

С этими словами доктор удалился и слегка взволнованный зашагал вдоль улицы, а мальчик остался стоять в недоумении, глядя на то пустое место, где только что стоял доктор.

Глава III. Усыновление

Мадам Депрэ, носившая христианское имя Анастази, представляла собою весьма приятный и симпатичный тип особы женского пола. Необычайно цветущая и здоровая с виду, полная, красивая брюнетка с упругими мягкими щеками, румяными губами и приветливым, спокойным взглядом темных глаз, и ручками несравненной красоты, она была такого рода женщина, над которыми горе и невзгоды проносятся как утренние летние облачка по небу; в худшем случае она могла сдвинуть свои темные брови так, чтобы они образовали одну вертикальную линию, но всегда на одну минуту, а затем и эта мимолетная морщинка на ее лбу тотчас же сглаживалась.

В ней было очень много бесстрастного спокойствия монахинь, при почти полном отсутствии их благочестия; напротив, Анастази была женщина весьма преданная всякого рода благам мира. Она страстно любила устрицы и доброе старое вино, любила несколько смелые шутки и рассказы и была очень преданна своему мужу, но скорее ввиду своего собственного благополучия, чем ради него. Она была невозмутимо добродушна по природе, но не имела ни малейшей склонности к самоотвержению или самопожертвованию.

Жить в этом уютном старом доме, с большим тенистым зеленым садом позади и ярким, пестрым цветником перед

окнами, есть и пить сладко и вволю, поболтать четверть часика с кем-нибудь из соседей, никогда не носить корсета и не одеваться, исключая тех случаев, когда она отправлялась в Фонтенбло за покупками, иметь постоянный богатый запас новостей и немудреных романов, быть к тому же женой доктора Депрэ и не иметь никаких оснований ревновать его, – этим исчерпывались все ее притязания на счастье, и чаша благ земных, по ее мнению, наполнялась этим до краев. Люди, знавшие доктора Депрэ еще холостым, когда у него было ровно столько же самых разнообразных теорий, но теорий другого рода, утверждали, что его теперешняя философия сложилась под влиянием изучения Анастази. Он рационализировал ее животное довольство и чувство полной удовлетворенности и бессознательно тщетно старался подражать ей по-своему. В кулинарном деле госпожа Депрэ была настоящей артисткой, а кофе готовила в совершенстве. Кроме того, она была помешана на чистоте и опрятности в доме, и этим заразила и мужа. Всякая вещь у них в доме была на своем месте, все сияло и блестело, начиная с медных ручек и задвижек, а пыль была совершенно изгнана из ее царства. Это было нечто такое, что совершенно не допускалось в доме доктора Депрэ. Алина, их единственная служанка, не знала другого дела, как весь день стирать пыль, чистить, скрести и подметать с раннего утра и до позднего вечера. И таким образом, доктор Депрэ в своем доме жил как теленок, которого откармливают к празднику в тепле, холе, чистоте и полном

довольстве.

В полдень подавался прекрасный обед и в этот день как всегда обед был вкусный и обильный. Была и спелая ароматная дыня, и только что пойманная в реке рыба с достопамятным беарнским соусом, и откормленная пулярка в виде фрикасе, и превосходная спаржа, а затем целое блюдо самых отборных фруктов. Ко всему этому доктор Депрэ выпил полбутылки с добавкой еще одного стаканчика прекрасного семилетнего Cote-Rotie (французского вина), а госпожа Депрэ – полбутылки, без стаканчика, того же самого вина – один стаканчик из ее полбутылки переходил в качестве прибавки к порции ее мужа, в ознаменование признания за ним мужских привилегий. В заключение подали превосходнейший кофе и графинчик «Chartreuse» для мадам. Доктор не доверял всем этим декоктам и пренебрегал ими, считая их вредными для здоровья. Поставив поднос на стол, Алина удалилась и оставила супругов Депрэ вдвоем, предоставив им без помех наслаждаться послеобеденной беседой, приятными воспоминаниями и процессом правильного пищеварения.

– Право, душа моя, говорю тебе, что для нас с тобой большое счастье… – начал было доктор. – Да, могу сказать, что твой кофе превосходен! – перебил он себя, отхлебнув немного из чашки. – Так вот, я говорю, – продолжал он, – что для нас с тобой большое счастье… Ах, Анастази, умоляю тебя, не пей ты этой гадости! Не пей этой отравы, ну хоть только сегодня, ну всего только один день, и ты сама увидишь, ка-

кую это принесет тебе пользу; ты будешь чувствовать себя гораздо лучше, ручаюсь тебе за это моей репутацией!

– Но ты не сказал мне еще, в чем для нас с тобой большое счастье, – заметила Анастази, не обратив внимания на обычную мольбу и уговоры мужа не пить ликера с кофе, – мольбу, повторяющуюся регулярно каждый день.

– В том, душа моя, что у нас с тобой нет детей, красавица моя! – ответил нежный супруг. – Я все чаще и чаще об этом думаю по мере того, как идут годы, и все больше и больше благословляю Всевышнего, избавившего нас от этой страшной обузы, от стольких забот, хлопот и огорчений. Подумать только, как твое цветущее здоровье, ненаглядная моя, могло бы пострадать от этого, а мои спокойные ученые занятия, а наши вкусные обеды и всякие гастрономические деликатесы и лакомства… все, все решительно должно было бы пострадать, будь у нас дети, от всего этого пришлось бы если не совсем, то до известной степени отказаться, пожертвовать хотя бы отчасти всеми этими радостями жизни, и, спрашивается, ради чего? Ведь дети – это последний остаток человеческого несовершенства! Перед их лицом бежит цветущее здоровье женщины; они являются причиной хвори и преждевременной старости наших жен; они кричат, шумят, раздражают наши нервы, нарушают мир и спокойствие в доме; мало того, они вечно задают вам неуместные, глупые и ненужные вопросы, надоедают вам постоянными расспросами, требуют, чтобы их кормили, поили, умывали, одевали, заботились

об их воспитании, обучении, чтобы им носы вытирали! Да, моя милая, вот что значат дети! А когда они подрастут, то настанет такое время, когда они с легкостью разбивают родительское сердце, как я разбиваю скорлупу этого ореха!.. Да, дорогая моя, двое таких отъявленных эгоистов, как мы с тобой, должны были бы всегда избегать произведения на свет всяких таких отпрысков, как явной измены себе и друг другу! Не правда ли?

– Да, друг мой, в этом ты действительно прав, – согласилась жена, и при этом она приятно засмеялась. – В сущности, это так на тебя похоже – хвалиться тем, что, собственно, произошло помимо твоей воли, и что вовсе не от тебя зависело.

– Дорогая моя, – возразил доктор как бы наставительно и почти торжественно, – ты забываешь, что мы могли усыновить ребенка!

– Ну уж нет! Этого я не допустила бы никогда… ни за что на свете! Слышишь ли ты, ни за что на свете! – воскликнула жена. – Что ни говори, а с моего согласия, во всяком случае, никогда! Еще если бы ребенок был моя собственная плоть и кровь, я бы, конечно, не отказалась от него, но взвалить себе на плечи последствия нескромности другой особы – нет, благодарю покорно! У меня для этого еще слишком много здравого смысла!

– Вот именно! – подтвердил доктор. – У нас обоих было слишком много здравого смысла для этого, и теперь я тем

более доволен нашим благоразумием, потому что… потому что… – И он пристально взглянул на свою жену.

– Потому что… что? – спросила она со смутным предчувствием какой-то опасности.

– Потому что я нашел теперь именно того, кого следовало, – сказал доктор твердо и решительно, – и я сегодня же усыновлю его!

Анастази смотрела на мужа и видела его словно в тумане. Она положительно ничего не могла понять.

– Ты с ума сошел! – воскликнула она, и в голосе ее слышалась такая нота, которая предвещала семейную бурю.

– Нет-нет, дорогая моя, ты ошибаешься, – возразил муж, – я в здравом уме и в полном сознании, и вот тебе доказательство: вместо того чтобы стараться как-нибудь замаскировать свою непоследовательность, я, напротив, желая тебя подготовить, умышленно подчеркнул ее. Надеюсь, что ты в этом узнаешь счастливого философа, имеющего радость и блаженство называть тебя своей женой! Видишь ли, дело в том, что я до сих пор никогда не рассчитывал на необычайную случайность, с чем, в сущности, всегда следовало бы считаться; я никогда не думал, что найду когда-нибудь настоящего своего сына; но вот прошедшей ночью я нашел его! Только прошу тебя, не тревожь себя напрасно, дорогая моя: в нем, насколько я знаю, нет ни единой капельки моей крови. Он мой сын по духу, по уму, если хочешь!

– По духу! По уму! – повторила Анастази с легким смеш-

ком, в котором слышались отчасти возмущение и гнев, отчасти желание рассмеяться. – Скажите пожалуйста, его ум! Да что это такое, наконец, Анри, – идиотская шутка или же ты на самом деле с ума спятил? Он сын ему по уму! По духу! Ну, а мне-то он как приходится? Мне-то он кто по духу и по уму?

– Ты права, – сказал доктор и пожал плечами, – да, ты как раз указала на единственную загвоздку во всем этом деле. Да, признаюсь, что об этом я не подумал, но что же делать, дорогая моя! Я боюсь, что он будет тебе поразительно антипатичен, боюсь, что ты, Анастази, никогда не поймешь его, а он тебя; это потому, что ты взяла себе в мужья животную часть моего существа и моей природы, дорогая моя, и эта физическая сторона моей природы всецело в твоей власти и безраздельно принадлежит тебе, а с Жаном-Мари у меня есть духовное сходство, настолько сильное, что, скажу тебе откровенно, я и сам несколько боюсь его. Ты, конечно, прекрасно понимаешь, что я возвещаю тебе о своего рода несчастье для тебя, но только, душа моя, – и голос его зазвучал искренне озабоченно, – ради Бога, не давай воли слезами после еды – это так вредно, Анастази! Я уверен, что ты испортишь себе пищеварение.

И Анастази воздержалась.

– Ты знаешь, как охотно и с какой готовностью я всегда подчиняюсь всем твоим желаниям, – сказала она, – когда они благоразумны или резонны, но в данном случае…

– Возлюбленная моя, – перебил ее доктор, спеша предупредить отказ с ее стороны, – припомни, кто пожелал уехать из Парижа? Кто заставил меня проститься и с моей карточной партией и вместе с тем и с моей маленькой страстишкой к картам, и с оперой, и с бульварами, и с моими связями в обществе, словом, со всем тем, что составляло мою жизнь до того времени, когда я узнал тебя? Припомни все это и скажи, был ли я тебе верен? Был ли я послушен тебе? Не нес ли не только безропотно, но даже охотно свой крест? И по всей справедливости, Анастази, не имею ли я тоже права предъявить тебе какое-нибудь требование в свою очередь? Ты знаешь, что я имею на это право, и признаешь его за мной. Ну, так мое требование, это чтобы этот сын мой был принят в наш дом, как это и подобает.

Анастази поняла, что она разбита наголову и что протестовать бесполезно, а потому поспешила спустить флаг, как судно, которое сдается.

– Ты меня убьешь этим! – вздохнула она.

– Нисколько! – возразил он. – С месяц ты будешь, быть может, чувствовать некоторую горечь или досаду, точно так же, как это испытывал я, когда я впервые очутился в этой жалкой деревушке, а затем твой здравый рассудок и твой милый нрав возьмут верх, и я теперь уже вижу тебя счастливой и довольной как всегда, и при этом еще с внутренним сознанием, что ты сделала своего мужа счастливейшим из людей!

– Ты знаешь, что я не могу отказать тебе ни в чем, – сказа-

ла она, делая еще одну последнюю попытку показного сопротивления, – ни в чем, что может сделать тебя действительно счастливым. Но так ли это в данном случае? Уверен ли ты в этом, друг мой? Ты говоришь, что нашел его прошедшей ночью! Да ведь он, может быть, худший из обманщиков.

– Я не думаю, – возразил доктор, – нет, едва ли я мог ошибиться в нем. Впрочем, ты не воображай, что я так неосмотрителен и неразумен, что сейчас же сразу вздумаю усыновить его. Нет, я льщу себя мыслью, что я человек, умудренный житейским опытом, и потому мне кажется, что я все предвидел и предусмотрел, что я взвесил все возможные случайности и, имея их в виду, составил план, который, я надеюсь, оправдает все мои расчеты. Я беру мальчика пока в качестве конюха, и если он станет таскать что-нибудь или роптать и высказывать недовольство, если он захочет уйти от нас, то я пойму и увижу, что я ошибся, и не признаю его своим сыном, а прогоню его – пускай себе шатается по белу свету.

– Этого ты никогда не сделаешь, – сказала жена, – я знаю твое доброе сердце.

И она протянула ему свою руку, вздохнув при этом, а доктор улыбнулся и поднес эту милую, прекрасную ручку к своим губам и запечатлел на ней нежный поцелуй, полный благодарности. Он выиграл свое дело гораздо легче, чем он того ожидал. Уже в двадцатый раз он испытывал магическое воздействие своего неизменного аргумента – намека на возвращение в Париж. Шесть месяцев пребывания в Париже для

человека со склонностями, знакомствами и связями доктора Депрэ и с его прошлым были равносильны полному разорению. Анастази удалось спасти последние остатки его былого состояния только благодаря тому, что она удерживала его безвыездно в деревне. Само слово «Париж» приводило ее в ужас. Она скорее разрешила бы своему супругу завести целый зверинец в большом саду позади дома и допустила бы даже усыновление маленького конюха, только бы муж не касался вопроса о возвращении в столицу.

Часов около четырех после полудня несчастный паяц отдал Богу душу; он так и не приходил в сознание с того момента, как впервые впал в забытье. Доктор Депрэ присутствовал при его последних минутах, и он же и объявил хозяйке и присутствующим, что комедия сыграна, что песенка паяца спета до конца, словом, что все уже кончено. После этого он взял Жана-Мари за плечо и вывел его в сад при гостинице. Здесь была удобная скамейка у самой реки. Доктор сел на эту скамейку и усадил мальчугана по левую руку от себя.

– Жан-Мари, – сказал он серьезно, – мир Божий очень, очень велик, и даже Франция, представляющая собой самую крошечную его частичку, слишком велика и обширна для такого маленького мальчугана, как ты. И хотя места в мире много всем, и во Франции тоже, но, к несчастью, всюду так много людей, от которых всем тесно, людей, которые со всеми толкаются и всем загораживают дорогу, и пробиться между ними чрезвычайно трудно. Кроме того, на свете слишком

мало пекарен для всех голодных ртов. Хозяин твой умер, а ты один еще не можешь сам себе зарабатывать хлеб, а ведь воровать ты не желаешь? Не правда ли? В таком случае положение твое, как ты сам, вероятно, понимаешь, незавидное, даже, можно сказать, критическое в настоящий момент. С другой стороны, ты видишь перед собой в моем лице человека еще не старого, но уже пожилого, пользующегося всеми благами душевной молодости и здравого разума, человека образованного, развитого, живущего в достатке и довольстве, имеющего приличное положение в жизни и хороший, сытный стол, человека, которым нельзя пренебрегать ни в качестве друга, ни в качестве хозяина. И вот я предлагаю тебе стол, и одежду, и обучение разным наукам и познаниям, несравненно более целесообразным для мальчугана с твоим складом ума и способностями, чем поучение всех священников целой Европы, вместе взятых. Жалованья или какого-либо вознаграждения я тебе не предлагаю; но если ты когда-нибудь пожелаешь уйти от меня, ты в любое время найдешь дверь открытой и сможешь идти на все четыре стороны, а кроме того, я еще дам тебе сто франков, чтобы ты имел возможность начать с ними новую жизнь по своему усмотрению. А взамен того, что я тебе предлагаю, ты должен будешь в свою очередь работать на меня. У меня есть старая кобыла и тележечка, на которой я выезжаю; ты очень скоро научишься ходить за кобылой и обмывать и держать в порядке экипаж – и это будет твоим делом. Ты не спеши с отве-

том, а обсуди хорошенько, принять тебе или не принять мое предложение; подумай, что из двух для тебя будет лучше. Но помни, что я не сентиментальный человек, не сердобольный благотворитель, а человек, живущий исключительно для себя, и что если я делаю тебе подобное предложение, то потому, что имею при этом в виду свои цели и ясно предвижу известные выгоды для себя. Ну, а теперь подумай хорошенько и тогда скажи, как ты решил поступить.

– Я буду очень рад принять ваше предложение, – сказал мальчик. – Я положительно не вижу, чтобы я еще мог сделать, кроме этого. Благодарю вас очень, сударь, и постараюсь сколько могу быть вам полезным, обещаю вам это! – добавил он уверенно и с твердой решимостью в голосе.

– Спасибо, мальчуган! – сказал доктор с теплой ноткой в голосе, и при этом он встал со скамейки и утер лоб платком, потому что в эти минуты, пока решался этот вопрос, он переживал настоящую агонию страха. Ведь отказ со стороны мальчика после той сцены, которая происходила нынче после обеда у него с женой, поставил бы его в смешное положение перед Анастази, а этого он ужасно боялся. Потому-то теперь он почувствовал громадное облегчение, словно гора свалилась у него с плеч, и он заговорил совсем весело:

– Какой жаркий, душный вечер сегодня, не правда ли? У меня летом всегда являлось желание быть рыбой, Жан-Мари. Ты знаешь, что здесь, под Гретцем, протекает Луан, славная река… и лежал бы я где-нибудь под водяной кувшинкой

у берега и прислушивался бы к звону колоколов; мне думается, что там, под водой, этот звон звучит особенно нежно и приятно, особенно хватает за душу. Вот была бы жизнь! Как ты думаешь? Хорошо было бы? А?

– Да, – сказал Жан-Мари задумчиво, – я думаю, что это должно быть хорошо.

– Благодарение Богу, у тебя, как я вижу, есть воображение! – воскликнул доктор и со свойственной ему экспансивностью и искренностью заключил мальчика в свои объятия. Но этот поступок его смутил мальчугана настолько же, насколько он смутил бы в Англии мальчика в школьном возрасте, то есть приблизительно одних с ним лет. Как видно, бедный мальчик совершенно не привык к такого рода проявлениям чувств.

– Ну, а теперь, – сказал доктор, – я отведу тебя к моей жене.

Госпожа Депрэ сидела в столовой в легком пеньюаре. Все шторы были опущены, а выстланный каменными плитами пол был только что опрыскан водой. Когда они вошли, госпожа Депрэ сделала вид, будто она читает роман, лежавший у нее на коленях, хотя еще секунду до того глаза ее были полузакрыты. Несмотря на то, что она была женщина весьма расторопная и большая хлопотунья, она тем не менее любила покой и наслаждалась им с большим удовольствием всякий раз, когда была не занята каким-нибудь безотлагательным делом; притом она имела также большую слабость ко

сну.

Войдя, доктор торжественно отрекомендовал жене приведенного им мальчугана и в заключение в назидание добавил обоим:

– Вы должны постараться полюбить друг друга в угоду мне.

– Он прехорошенький! – заметила Анастази. – Ну, поцелуй же меня, мой славный малютка! – добавила она ласково, обращаясь к мальчугану.

Доктор положительно пришел в бешенство. Он вытащил жену в коридор и обрушился на нее целым градом упреков.

– Да в уме ли ты, Анастази! Где же этот ваш прославленный женский такт, о котором мне постоянно кричат! Видит Бог, я еще ни разу в жизни не видал его! Ты умная женщина, и вдруг обращаешься к моему маленькому философу как к какому-нибудь младенцу. К нему надо относиться с большим уважением, а не надоедать ему бабьими ласками и поцелуями, как малому ребенку.

– Я сделала это только ради того, чтобы угодить тебе, – сказала Анастази, – я постараюсь, чтобы этого больше не повторилось.

Доктор извинился перед женой за свою горячность и затем пояснил:

– Я конечно, желаю, чтобы он здесь чувствовал себя среди нас как дома, но твое поведение на этот раз было, право, так глупо, возлюбленная моя, так неуместно и смешно, что мог-

ло вывести из себя даже и святого, и потому ты должна мне простить на этот раз, что я так погорячился, выражая тебе мое неодобрение. Постарайся, прошу тебя, если только это возможно для женщины, понять это молодое существо; но, впрочем, я вполне уверен, что это совершенно невозможно и я только даром трачу слова. Во всяком случае, старайся говорить с ним как можно меньше и наблюдай за мной, как я себя держу с ним, – это может послужить тебе примером.

И Анастази последовала этому мудрому совету: она наблюдала за своим супругом и заметила, что он трижды в течение этого вечера кидался обнимать и целовать мальчика, и что каждый раз он этим до того ошеломлял и смущал этого маленького человечка, что тот совершенно утрачивал на некоторое время и аппетит, и способность говорить.

Но Анастази обладала истинно женским героизмом в такого рода вещах и не только воздержалась от дешевой отместки, указав мужу на его собственную непоследовательность в поступках, но даже еще постаралась изгладить, насколько возможно, их неблагоприятное действие на Жана-Мари. Так, когда доктор вышел из дома, как всегда, подышать свежим воздухом перед отходом ко сну, она подошла к мальчику и, взяв его ласково за руку, сказала:

– Ты не должен ни пугаться, ни смущаться несколько странным обхождением моего мужа. Это добрейший человек, но он так умен и так учен, что иногда его трудно бывает понять. Ты скоро привыкнешь к нему, и тогда я уверена, что

ты полюбишь его, потому что не полюбить его нельзя, это тебе всякий скажет, кто его знает. А что касается меня, то ты можешь быть уверен, что я постараюсь сделать тебя счастливым и вовсе не буду ни мучить тебя, ни надоедать тебе! Мне думается, что нам следовало бы быть с тобой добрыми друзьями. Я не больно ученая, но я добродушная и доброжелательная женщина – поцелуй меня!

Мальчик поднял к ней голову и подставил ей свое лицо для поцелуя, а она заключила его в свои объятия и заплакала. Она начала говорить с чувством снисхождения, но затем растрогалась сама от своих слов, и в ней заговорила женская нежность.

Доктор, вернувшись, застал их в объятиях друг друга и решил, что в этом была виновата опять его жена. Он уже был готов обрушиться на нее с градом упреков, он даже начал было грозным, наводящим ужас голосом: «Анастази!..» – но она устремила на него полный нежности и умиления взгляд, улыбнулась и подняла кверху палец, призывая его молчать. И он замолчал, удивляясь тому, что здесь могло произойти, а она отвела мальчика в мезонин, где ему было отведено и приготовлено помещение.

Глава IV.Воспитание философа

Таким образом, водворение приемного сына-конюха благополучно совершилось, и колесо семейной жизни в доме доктора Депрэ продолжало катиться своим порядком, ровно и гладко, как по скатерти. По утрам Жан-Мари добросовестно исполнял свои обязанности конюха, чистил лошадь и мыл, и прибирал экипаж, а затем иногда помогал в домашних работах, а иногда отправлялся гулять с доктором и черпал в его беседах бездну премудрости. По вечерам его знакомили с разными науками и с древними языками. Живя в семье доктора, мальчик сохранял свое странное невозмутимое спокойствие манер и мыслей; он почти ни разу ни в чем не провинился, добросовестно исполнял все, что от него требовали, но в науках он почти не делал успехов, за исключением некоторых предметов, которые были ему по душе, и в общем оставался, несмотря ни на что, как бы чужим в этой семье, быть может, вследствие своей природной замкнутости и постоянной вдумчивости.

Доктор мог служить образцом регулярности и аккуратности: каждый день до обеда он работал над своей большой книгой «Сравнительная фармакопея, или Исторический словарь всех медикаментов», который представлял собою еще разрозненные лоскутки бумаги, скрепленные булавками. В законченном виде этот труд должен был представ-

лять собой множество увесистых томов и совмещать в себе любопытный исторический материал и полезные практические профессиональные сведения. Но доктор имел пристрастие к литературным красотам и живописности описаний и уснащал свою научную книгу то анекдотом, то колоритной бытовой сценкой, то каким-нибудь народным суеверием или моральным наставлением, или же звонким эпитетом, и даже предпочитал все эти детали сухой научной материи. Словом, еще немножко, и он написал бы свою «Фармакопею», если бы это только было возможно, в поэтических стихах, в виде научной поэмы. Статья, озаглавленная «Мумии», была уже давно готова, но сам труд дальше буквы «А» не подвинулся. Эта статья была чрезвычайно подробная, обширная, интересно и занимательно составленная, написанная сочно и красочно, и при этом строго научно и точно, с массой интересных подробностей и указаний, словом, превосходная литературная статья, но едва ли бы практикующий врач мог почерпнуть в ней что-либо, что могло бы ему пригодиться, или чем бы он мог сколько-нибудь руководствоваться в своей повседневной практике. Женский здравый смысл жены сразу помог ей подметить этот недостаток статьи, и она с полной искренностью указала на него мужу. По мере того как труд доктора с чрезвычайной медленностью подвигался вперед к своему бесконечно далекому окончанию, доктор регулярно прочитывал вслух жене написанное, и она слушала его в полудремотном состоянии, но тем не менее как-то улавливала

смысл и высказывала время от времени свои, иногда весьма дельные, замечания. Только доктор был болезненно чувствителен в своем авторском самолюбии, и всякое сколько-нибудь неодобрительное замечание задевало его за живое.

После обеда, подававшегося ровно в полдень, конечно, не сейчас, а выждав надлежащее время, чтобы процесс пищеварения мог спокойно пройти своим порядком, доктор обыкновенно отправлялся гулять, иногда один, иногда в сопровождении Жана-Мари, потому что madame предпочла бы невесть какую тяжелую работу у себя в доме даже самой маленькой прогулке.

Как уже было сказано раньше, она была женщина работящая, деятельная, постоянно озабоченная мыслью об удобствах и материальных благах своего мужа, но наряду с этим она была готова в любое время заснуть над книгой, как только хлопоты ее были окончены и все в доме сделано и в порядке. Эта ее способность засыпать в любую минуту не имела, однако, ничего неприятного, так как она никогда не храпела, цвет ее лица не изменялся во время сна, как у некоторых людей, лицо не принимало тупого или неприятного выражения, а напротив, она являлась как бы олицетворением сладостного, соблазнительного покоя, и пробуждалась она не вздрагивая и не вскакивая, как ужаленная, не зевала и не протирала глаз в каком-то бессмысленном недоумении, а спокойно раскрывала их и сразу приходила в полное сознание окружающей действительности, так что казалось, будто она даже

вовсе не спала.

В сущности, в ней было очень много животного, но такое красивое и милое животное приятно иметь подле себя. Благодаря такому ее образу жизни она мало занималась и редко соприкасалась с Жаном-Мари, но тем не менее их добрые отношения, завязавшиеся в первый вечер его водворения в их доме, не ослабевали; они иногда вступали даже в разговоры, обыкновенно на хозяйственные темы, и, к великому огорчению доктора, даже выплывали вместе по воскресеньям в храм невежественного суеверия, то есть в сельскую церковь. Кроме того, дважды в месяц и он, и madame, вырядившись в праздничное платье, отправлялись вдвоем в Фонтенбло и возвращались оттуда нагруженные покупками. Короче говоря, несмотря на то, что доктор продолжал смотреть на них, как на две непримиримо враждебные или недоброжелательные друг к другу стороны, их отношения в действительности были настолько близкие, дружественные и искренние, насколько это допускала их натура.

Однако можно предположить, что в самом дальнем тайнике своей души Анастази, пожалуй, несколько презирала и жалела бедного мальчика, жившего у них в доме. Его достоинства и те качества, какими его наделила природа, не возбуждали в ней восхищения; она предпочитала франтоватых, веселых, бойких, открытых, даже несколько грубоватых мальчуганов, с шапкой набекрень, быстрых на ногу и на язык, смело смотрящих каждому прямо в глаза. Ей нрави-

лась болтливость, живость, даже немного развращенности, и красивая развязность манер; словом, будь он вылитый портрет доктора в миниатюре, он бы ей нравился больше. А теперь она была глубоко убеждена, что Жан-Мари глуп.

– Бедный мальчик, – сказала она однажды мужу, – как это печально и как жаль, что он такой глупый!

Но она никогда больше не осмеливалась повторить этих слов, потому что доктор, услыхав их, пришел в дикое бешенство. Он положительно рассвирепел, как разъяренный буйвол, принялся осыпать ее самыми грубыми упреками, объявил, что сама она глупа, как неразумная скотина, жаловался даже на свою судьбу, сочетавшую ее с такой ослицей, и что всего больше огорчило Анастази, это то, что, стуча кулаками по столу, он угрожал перебить китайский фарфор, стоявший на столе, или задеть что-нибудь со своей невоздержанной жестикуляцией. А в результате она все же осталась при своем мнении, хотя и не высказывала его больше вслух. И когда Жан-Мари, бывало, сидел с тупым и смущенным видом над своими недоконченными уроками, недоумевающий, но отнюдь не чувствующий себя несчастным, она, воспользовавшись отсутствием доктора, прокрадывалась к мальчугану и, обняв его сзади за шею, прижималась щекой к его щеке и выражала ему нежно и ласково свое сочувствие его горю.

– Ты не тужи, – утешала она его, – посмотри на меня, ведь я тоже вовсе не умна и не учена, но мне совсем не плохо жи-

вется на свете. Поверь мне, в жизни это вовсе не так нужно!

Доктор был, конечно, на этот счет совсем другого мнения. Он никогда не уставал слушать самого себя; звук его собственного голоса, по-видимому, очень нравился ему, хотя следует сказать по справедливости, что голос у него был чрезвычайно приятный. Теперь он был, можно сказать, вполне счастлив, потому что у него был слушатель менее безучастный и не столь цинически равнодушный к его теориям, как его прекрасная Анастази. Слушатель этот внимал ему с интересом и по временам задавал ему самые любопытные вопросы, возбуждал его пыл и воодушевление самыми дельными и уместными возражениями или замечаниями. А кроме всего этого, разве он не взял на себя воспитание мальчика? Воспитание маленького философа! А относительно того, что воспитание его – самая философская из всех обязанностей человека, соглашаются все философы. И что может быть более утешительного для бедного смертного, как не возведение его прихоти, каприза или забавы на уровень высокого долга – служения государству и человечеству! При таких условиях наш жизненный путь становится путем блаженства. Никогда еще доктор не имел столько оснований радоваться своим дарованиям и способностям, о которых он, между нами говоря, был очень высокого мнения. Философские истины и теории положительно лились у него из уст, и он был до такой степени искусный диалектик, что с легкостью мог всегда подвести какую угодно бессмыслицу, ес-

ли это требовалось, под основы здравого смысла и строгой логики и доказать целесообразность чего угодно и полную совместимость с проповедуемой им теорией. Из всякого рода затруднительных и неловких положений, из всякого рода пререканий он успевал выскользнуть точно угорь из рук и в результате всегда оставлял своего ученика удивленным глубиной его премудрости и богатством его познаний.

Но в то же время в глубине души доктор был несколько разочарован плохими успехами его ученика в преподаваемых ему школьных науках. Мальчик, которого он сам, такой опытный и проницательный наблюдатель, избрал как особенно одаренного и способного, был обязан, согласно всем мировым законам, делать более заметные и более быстрые успехи. Но Жан-Мари был во всем несколько медлителен и во многом оставался совершенно непонятным для окружающих. Его способность забывать вполне соответствовала его способности заучивать, а потому занятия классные или школьные с ним весьма походили на толчение воды в ступе, но зато лекции во время прогулок доставляли доктору истинное наслаждение, потому что им мальчик внимал с видимым удовольствием, и даже черпал в них много с видимой пользой для своего умственного развития, легко усваивая и запоминая все, что его почему-либо интересовало и чему он сочувствовал в той или иной мере.

Много-много о чем беседовали наставник и ученик, но всего чаще доктор возвращался к своей излюбленной теме о

здоровье и воздержании как главных источниках человеческого счастья и благополучия.

– Я веду тебя по зеленеющим пастбищам, друг мой, – говаривал доктор, – моя система, мое лечение, мое учение все основано на одной фразе: избегать всякого рода излишеств! Благословенная природа, здоровая, воздержанная, разумная во всем, не выносит и уничтожает всякий эксцесс, всякое излишество, но человеческие законы лишь в очень слабой степени подражают ей; потому все мы должны постоянно помнить, что на нас лежит обязанность восполнять эти законы личными стараниями. Да, мой маленький друг, мы сами должны себе создать законы для себя и для наших ближних и неуклонно следить за исполнением этих разумных законов, даже в случае надобности принуждать и себя, и других к соблюдению их, даже вооруженной силой, если это нужно! Lex armata, то есть вооруженный, тиранический закон следует применять к людям, не сознающим своей пользы и причиняемого ими себе вреда! Например, если ты увидишь старую человеческую развалину, то есть дряхлого старца, нюхающего табак, – вырви у него из рук табакерку. Судья – это, конечно, тоже явление болезненное, род признания за людьми известного недуга – отсутствия правильного и беспристрастного самосуда, но все же далеко не столь вредное, как доктор или священник, особенно же доктор. Ведь это, в сущности, корыстный отравитель, иногда бессознательный, иногда сознательный, с целым арсеналом всякой гнойной дряни

и требухи, входящей в состав его фармакопея! Чистый, свежий воздух от соседства соснового леса, насыщенный смолистым запахом, неразбавленное, чистое, натуральное вино, и размышление не лжемудрствующего здравого ума, не искаженного софизмами, в присутствии прекрасных творений природы, – вот что является, сын мой, самыми лучшими лечебными средствами как для восстановления, так и для поддержания здоровья физического, а также и для религиозного утешения и духовного удовлетворения. Посвяти себя распространению этого учения, и ты поступишь благоразумно! Слышишь? Это звонят колокола в Бурроне! Ветер с севера, будет хорошая погода. Как чисты и ясны, словно прозрачны эти отдаленные звуки. Они так гармонируют с душевным настроением, так благотворно, успокаивающе действуют на нервы, что ум смолкает и сердце начинает биться легко и ровно! Все эти ваши непросвещенные доктора не увидели бы ничего особенного в этих ощущениях, они не придали бы им никакого значения, а между тем ты сам теперь видишь, что они являются частью твоего здоровья, что они способствуют ему. Помнишь, мы сегодня читали о хине? Так вот, эта хина тоже продукт природы, как и пропитанный смолой воздух; ведь она, в сущности, не что иное, как кора хинного дерева, кора, которую мы могли бы собирать собственноручно, если бы мы с тобой жили в той местности, где растут эти деревья. Подумай только, как прекрасен, как разумен этот мир! И хотя я отъявленный атеист, но я с восторгом свидетельствую

о всех красотах и совершенствах этого мира, о богатстве и премудрости природы, об обилии и разнообразии ее даров! Ты оглянись крутом, сколько тут повсюду даровых лекарств и лечебных средств, сколько радостей и удовольствий рассыпано повсюду на твоем пути! Вон там, в конце сада, протекает река, – это наша даровая купальня, наш живорыбный садок, наше естественное орошение почвы; а там, во дворе, колодец дает нам чистую, светлую, студеную воду из самого сердца, из самых недр земли! Эта вода вкусна, живительна, холодна и с небольшой примесью хорошего вина очень полезна и здорова. Вся вообще наша местность славится своим здоровым климатом; ревматизм – единственный недуг, на который здесь жалуются люди; но ты видишь, что я лично никогда не страдал даже и малейшим приступом ревматических болей, и я говорю тебе, и мое убеждение основано на самом холодном, на самом здравом и строгом обсуждении этого вопроса, – мое убеждение таково, что если бы кто-нибудь из нас, ты или я, вздумал вдруг покинуть эту прекрасную, здоровую местность, то долг близкого друга, его неоспоримое право – удержать несчастного безумца от этого шага, удержать его хотя бы под угрозой пистолета!

И мальчик слушал своего наставника и руководителя и запоминал его слова.

В одно прекрасное июньское утро они сидели на небольшом пригорке за деревней и, как всегда, беседовали. Река, такая же голубая, как небо, сверкая на солнце, просвечи-

вала тут и там между листвой росших по берегу деревьев. Неумолкаемые легкокрылые птицы летали и кружились вокруг и над колокольней Гретца; со стороны мыса дул довольно сильный ветер, и в воздухе стоял тихий шум сотен раскачиваемых ветром верхушек деревьев и шелест миллионов и миллионов зеленых листочков, наполнявших слух чем-то средним между тихим ласковым шепотом и пением. Казалось, будто под каждой былинкой скрывается резвая стрекоза и, сладко заливаясь, оглашает своим веселым стрекотом окрестного луга; будто над ними несется, звеня бубенцами и здесь и там, какая-то маленькая волшебница на своей колеснице, запряженной роем золотистых пчел. Со ската холма, на котором расположились наши друзья, им открывалась довольно обширная панорама: глаз обнимал с одной стороны большое пространство равнины, обсаженной тополями, с другой – волнистую линию холмов, поросших лесом, а прямо против них, можно сказать, у их ног, приютилась на берегу реки их деревенька Гретц, горсточка черепичных крыш, словно кучка воробьев. Под огромным голубым сводом неба, уходящим далеко ввысь, деревушка казалась отсюда детской игрушкой; казалось невероятным, чтобы люди могли жить, двигаться и дышать в таком крошечном уголке земного шара. Быть может, впервые эта мысль мелькнула в голове мальчика, и он высказал ее словами.

– Какой маленькой она кажется отсюда! – вздохнул он.

– Да, очень маленькой теперь, – отозвался доктор, – а было

время, когда Гретц был обнесенным стеной укрепленным городом, с высокими грозными башнями на зубчатых стенах, с красивыми тонкими шпилями на башнях; городом цветущий, богатый, торговый, где расхаживали и толпились богатые граждане и купцы в дорогих мехах и вооруженные воины в панцирях и кольчугах, где обделывались большие дела и собирались советы. Тысячи труб в домах переставали куриться, и в тысячах окон гасли огни, когда раздавался вечерний звон (couvrefeu) с главной городской башни; а за городскими воротами торчали виселицы в таком же количестве, как теперь вороньи пугала на наших огородах. А в военное время осаждающие по приставным лестницам взбирались на стены, и стрелы сыпались, как листья в листопад; осажденные делали смелые вылазки, происходили отчаянные схватки на подъемном мосту, и обе воюющие стороны издавали громкий и грозный крик, когда скрещивали друг с другом оружие. Знаешь ли ты, что в ту пору городские стены тянулись до самой Коммандри, так по крайней мере гласит предание. Но, увы, все это давным-давно миновало. Все это было и прошло, и быльем поросло, и от всего этого былого остались теперь только мои тихие слова, повествующие тебе об этих воспоминаниях прошлого. Даже сам город съежился и превратился в эту невзрачную, скромную тихую деревушку, что лежит там внизу, такая маленькая и едва заметная… А случилось это так. С течением времени завязалась у нас война с англичанами. Впоследствии тебе еще часто придется слы-

шать о них. Это глупый народ, который иногда, сам для себя невзначай, делает что-нибудь путное по ошибке… Так вот, англичане взяли Гретц, разорили, разграбили и сожгли. Такова горькая повесть очень многих наших городов, которые постигала такая же участь, но другие города возрождались из пепла, а Гретц так и не восстал, так его и не отстроили вновь; его развалинами воспользовались другие города как каменоломней; из его камней и плит выросли целые улицы в Немуре. Меня радует, однако, сознание, что наш старый дом был первый выстроенный после разгрома, и что он, так сказать, положил начало этой деревушке на месте безвозвратно погибшего города.

– Я тоже этому рад, – сказал Жан-Мари.

– Наш дом должен был бы служить храмом скромных добродетелей! – продолжал доктор, торжественно смакуя с особым удовольствием свои собственные слова. – Быть может, одной из причин того, что я так люблю эту деревушку, является то обстоятельство, что ее история сходна с моей; не знаю, говорил ли я тебе, что я раньше был очень богат?

– Нет, вы мне этого как будто не говорили, – ответил Жан-Мари, – я едва ли бы мог забыть об этом. Во всяком случае, мне очень жаль, что вы потеряли свое состояние.

– Жаль? – воскликнул доктор. – Ну, друг мой, как видно, мое воспитание еще не успело повлиять на тебя. Выслушай меня и ответь мне по совести, как всегда. Скажи мне, где бы ты лучше желал жить: в старом многолюдном, укреплен-

ном Гретце или в нашем новом маленьком, скромном Гретце, тихом и спокойном, не знающем ни тревог, ни войны, окруженном со всех сторон зелеными лугами и лесами, где нет ни паспортов, ни солдатчины, и где тебя не гонит вечерний колокольный звон, хочешь не хочешь, в постель с закатом солнца?

– Мне думается, что я предпочел бы жить в новом Гретце, – сказал мальчик.

– Ну, без сомнения, – подхватил доктор – и я тоже, конечно! И вот точно так же я предпочитаю мое настоящее положение и мой скромный достаток моему прежнему богатству. «Золотая середина!» – восклицали с восторгом древние мудрецы, и я вторю им от всего сердца, я подписываюсь под их мудрым словом обеими руками. Разве у меня нет доброго вина, вкусного обеда, лакомых блюд, чистого здорового воздуха, лугов и лесов для прогулок, чистой, светлой реки для купанья, уютного славного дома, очаровательной и прелестной жены и маленького мальчугана, которого я люблю как родного сына? Ну, а если бы я был богат, как раньше, я бы, конечно, жил в Париже, а знаешь ли ты, что такое Париж? Могу тебя уверить, что Париж – это не синоним рая! Вместо этого приятного шелеста ветра в листве – шум вавилонского столпотворения и грохот мостовых на улицах, ослепительная штукатурка белых, желтых и красных домов вместо спокойных серых тонов деревенских строений и полей, вместо зелени, лугов и лесов, и сверх всего расшатанные нер-

вы и неправильное пищеварение. Представь себе все это! Ты уже заранее можешь представить результаты и последствия: мысль постоянно возбуждена, сердце бьется неровным темпом, человек становится не похож на себя; все в нем суета, огорчение, досада, возбуждение. Я терпеливо и настойчиво изучал себя, потому что это есть истинная задача философа, и я знаю себя и свой характер, как музыкант знает свой инструмент. Стоит мне только вернуться в Париж, и я совсем пропаду; я разорюсь до последней нитки игрой, потому что игра – это моя страсть! Мало того, я разбил бы жизнь и сердце моей милой Анастази тем, что стал бы изменять ей на каждом шагу! Вот что для меня значит Париж!

Этого Жан-Мари никак не мог понять. Он не мог понять, как место может настолько изменить не только всю жизнь и вкусы человека, но и самого человека, такого прекраснейшего человека, как доктор. Этому положительно не верилось.

– Париж, – утверждал он, – даже весьма приятное местопребывание, и когда я жил в Париже, я не замечал в себе никакой особенной разницы, – добавил он уверенно.

– Как, – воскликнул доктор, – а разве ты не там начал воровать!

– Да, но что же из этого? – промолвил он.

Вообще его никоим образом нельзя было убедить, что воровать дурно и что он поступал предосудительно, когда воровал, да и сам доктор этого не думал; но дело в том, что этот господин становился всегда чрезвычайно щепетильным, ко-

гда находил нужным возражать, как это было на этот раз.

– Ну, а теперь ты, я полагаю, начинаешь понимать, что моими истинными, единственными друзьями были те люди, которые разорили меня. Гретц был моей академией, моим санаторием, моим раем земным, источником чистых и невинных удовольствий! И если мне предложат миллионы, я откажусь от них, я отстраню их от себя и воскликну: отойди от меня, сатана! Прими к сведению мой пример, сын мой, пренебрегай богатством и избегай развращенного и принижающего влияния больших городов, и пусть твоим девизом в течение всей твоей жизни будет «гигиена и средний достаток!», то есть умеренность и аккуратность во всем.

Замечательно, что гигиенический метод доктора Депрэ и вся его система поразительно совпадали с его вкусами; а картина рисуемой им идеальной и образцовой жизни являлась добросовестнейшим повторением той жизни, какой он жил в данное время. Но не трудно убедить мальчика в том, что вы ему утверждаете несомненными фактами из собственного опыта, чему вы сами служите примером. А кроме того, что было всего более убедительно в философии доктора, так это неподдельный энтузиазм философа, его искренняя убежденность и восторженное преклонение пред своими теориями. Кажется, не было на свете человека, который бы так страстно желал быть удовлетворенным и довольным своей философией, как доктор Депрэ, и если он не был особенно логичен и потому не имел права рассчитывать на возможность воз-

действовать на ум собеседника посредством убеждений, то, будучи несомненно поэтом в душе, он овладевал его воображением и обольщал его чувства, очаровывая его своею вдохновенной речью. А то, чего он иногда не мог достигнуть при обычном своем настроении духа, – блаженного восхищения собою и своими теориями, – то ему часто удавалось в минуту находившей на него по временам хандры и меланхолии.

– Мальчуган, держись ты от меня подальше сегодня, – говорил он в подобные минуты. – Будь я суеверен, я бы стал просить тебя помянуть меня в твоих молитвах. Я в самом мрачном настроении сегодня, мне думается что злой дух царя Саула, что ведьма, преследовавшая купца Абудала, что тот дьявол или черт, который не давал покоя средневековому монаху, овладели мной, вселились в меня и хозяйничают у меня в душе. Теперь порочные наклонности моей натуры начинают брать во мне верх, и невинные мои удовольствия тщетно манят меня к себе; меня тянет в Париж, тянет окунуться с головой в его грязь, пошлость, разврат и соблазны! Смотри! – И при этом он доставал из кармана горсть серебряных монет. – Смотри, я отказываюсь от этих денег, я бросаю их прочь от себя, потому что мне нельзя доверить и полушки; возьми эти деньги, возьми их от меня!.. Сбереги их для меня, или потрать на зловредные сласти, или брось их в самую глубь реки – и я одобрю твой поступок. Спаси меня от меня самого, от той негодной, скверной половины моей личности, которую я ненавижу и презираю! И, если ты уви-

дишь, что я колеблюсь, действуй решительно! Останови поезд! Вызови крушение, если это нужно!.. Ну, конечно, я говорю в данном случае иносказательно, но ведь ты меня понимаешь. Всякого рода крайность, какое угодно несчастье было бы лучше для меня, чем добраться живым до Парижа.

Не подлежит сомнению, что доктору доставляли немалое удовольствие подобные маленькие сцены, вносящие разнообразие в его партию; они представляли собой байронизм, интересный байронизм его несколько искусственной поэзии жизни, его блаженного, но несколько однообразного порой существования. Но для мальчика, хотя он смутно чувствовал театральность этих проявлений, они все же не проходили бесследно. Они являлись для него чем-то более серьезным, более знаменательным. И если доктор придавал слишком мало значения, то мальчик, с другой стороны, придавал слишком много веса этим мнимым искушениям, их реальности и серьезности их значения и упадку духа своего наставника.

Но вот однажды у Жана-Мари блеснула мысль: «Разве нельзя употреблять богатства с пользой?» И он высказал эту мысль своему наставнику.

– В теории, конечно, да! – ответил доктор. – Но опыт доказал, что на практике никто этого не делает. Все охотно воображают, что они будут исключением из общего правила, если им достанется богатство, но на деле обладание им действует на людей развращающе; рождаются неизвестно откуда

совершенно новые желания и аппетиты, и глупое пристрастие к показному щегольству вытравляет из сердца истинную радость наслаждения.

– Значит, вы были бы и лучше, и счастливее, если бы имели меньше того, что вы сейчас имеете? – спросил мальчик.

– Конечно, нет, – возразил доктор, но при этом голос его слегка дрожал.

– А почему же нет? – продолжал допрашивать безжалостный мучитель.

– Почему?! – и у доктора зарябило в глазах. Он увидел перед собой разом все цвета радуги. И устойчивая вселенная как будто заходила перед ним ходуном и готова была рухнуть вместе с ним. – Потому, – сказал наконец Депрэ после весьма продолжительной паузы, как бы наставительно, – потому что я устроил свою жизнь согласно моим доходам, которых мне теперь как раз хватает на все, а в мои годы уже тяжело человеку менять свои привычки и быть вынужденным расстаться с ними; это может нарушить его душевное равновесие и спокойствие.

Это был жестокий удар по теориям, и он еле увернулся от него. После него доктор долго пыхтел и потом весь остаток дня был мрачен и молчалив. Что же касается мальчика, то он остался очень доволен разъяснением своих сомнений, и даже весьма дивился, как это он сам не предвидел этого столь ясного ответа, который теперь казался ему самым естественным. Его вера в доктора была тверда и непо-

колебима; он никогда не позволял себе усомниться в нем. Так, например, Депрэ имел склонность находиться в подпитии после обеда, особенно же после того, как ему приходилось отведать его любимого ронского вина (из виноградников с берегов реки Роны), к которому он питал особую слабость. Тогда он начинал распространяться о своих нежных чувствах к Анастази, с раскрасневшимися щеками и блуждающей, двусмысленной улыбкой разглагольствовал на всевозможные темы и при этом отпускал довольно неудачные и нескромные остроты. Но приемный сын, вместе с тем маленький конюх, никогда не допускал далее мысли об обидном для доктора подозрении, не совместимой с его чувством благодарности к этому человеку. Правда, что человек может заменить вам родного отца и все-таки выпивать лишнее за обедом, но хорошие по природе натуры обыкновенно не скоро мирятся с такого рода истинами и всеми силами отвергают их и гонят от себя даже саму мысль о них.

Доктор Депрэ всецело овладел сердцем этого мальчика, но вместе с тем он весьма ошибался и сильно преувеличивал свое влияние на ум, характер и взгляды Жана-Мари. Без сомнения, мальчик усвоил себе некоторые суждения и мнения своего наставника, но при этом никто не мог бы сказать, чтобы он отрешился хоть от одного из своих взглядов, своих мнений и своих убеждений. Убеждения у него были свои, как бы прирожденные. Убеждения эти можно было бы назвать девственными, не выработанными, это был сырой

материал убежденности и решимости, и к этому наличному запасу убеждений он прибавлял другие, новые убеждения, но менять или отбрасывать прежние он не хотел и не находил нужным. Он даже не заботился о том, согласовывались ли все его убеждения между собой. Вообще он не находил удовольствия в мысленном переживании их или в выражении их словами; слова Жан-Мари считал вообще ненужным упражнением, а речь своего рода искусством или дарованием – чем-то вроде танцев. И когда он был один, то его наслаждения были чисто созерцательные, можно сказать, растительные. Бывало, проберется в леса, лежащие по направлению к Ашеру, сядет где-нибудь у входа в пещеру, под сенью старых берез, и вся душа его переселится в его глаза; весь он обратится в живое воплощение безмолвного созерцания; он не шелохнется, не двинется, а сидит без движения и без мысли и переживает пассивно нахлынувшие на него ощущения. Солнечный свет и тонкие кружевные тени берез, едва заметно дрожащие на земле от дуновения ветерка, колышущего ветви берез, тонкие абрисы верхушек соснового леса на светлом фоне небес – все это поглощало, зачаровывало его, усыпляло все его остальные способности и даже сами мысли. В эти моменты все его существо было преисполнено одним только чувством, в котором сливались все остальные чувства и ощущения, как все цвета спектра сливаются и пропадают в общем белом свете.

И в то время, как доктор упивался и одурманивал себя

своими собственными словами, маленький приемыш конюх убаюкивал себя сладостным для него безмолвием.

Глава V. Находка клада

Экипаж доктора Депрэ представлял собою двухколесную одноколку с верхом. Такого рода экипажи весьма распространены у провинциальных и сельских врачей во Франции. Где только вы не встретите этот экипаж, на каких только дорогах, в каких только глухих углах, и всегда он сразу заметен и на больших дорогах, обсаженных тополями, и у заборов деревенских гостиниц или крестьянских домов. Этот род экипажа отличается тем, что на ходу он постоянно качается, особенно если лошадь идет рысью, качается или как бы кивает взад и вперед поперек своей оси, вследствие чего его в шутку прозвали «качалкой», или «кивалкой», или же просто «трясучкой». Верх этих экипажей обыкновенно представляет собой порядочных размеров свод, явственно вырисовывающийся на фоне окрестного пейзажа, и производит довольно глупое и вместе с тем как бы чванливое впечатление на скромного и наблюдательного пешехода. Разъезжать в такой таратайке или одноколке, конечно, не представляет основания для особого чванства и отнюдь не придает человеку необычайной важности, но надо думать, что это весьма полезно при болезнях почек, и, может быть, именно этим объясняется такая популярность и распространенность этого рода экипажей у врачей.

Однажды рано утром Жан-Мари запряг докторскую «ка-

чалку», отпер зеленые ворота, вывел лошадь на улицу, затем запер ворота и взобрался на козлы немудреного экипажа. Почти в ту же минуту на крыльцо дома вышел сам доктор, облаченный с ног до головы во все белое, причем полотняный костюм его блистал ослепительной чистотой и белизной. В руках у него был большой телесного цвета зонт, а на перевязи висела жестяная ботаническая коробка. Он сел в одноколку, и экипаж весело покатился, подымая пыль по дороге и легкий ветерок, дувший седокам в лицо при движении, рассекавшем воздух. Доктор и его спутник ехали в Франшар собирать растения в качестве пособий и материала для «Сравнительной фармакопеи».

Прогромыхав некоторое время по шоссированной большой проезжей дороге, они свернули в лес и покатили по малоезженной лесной дорожке. Одноколка мягко катилась по мягкому песку, слегка поскрипывая на хрустевших под колесами сухих ветках и корнях, лежавших на дороге. Над головой седоков расстилался громадный зеленый шатер, точно зеленое облако, и тихо шелестела сплетавшаяся между собой густая листва бесконечного числа деревьев. Под сводами леса воздух сохранял еще свежесть ночи, здесь дышалось както особенно легко и приятно. Гигантские фигуры и причудливые очертания деревьев с их воздушными зелеными шапками производили впечатление ряда величественных изваяний, а стройные линии стволов невольно манили глаз кверху, все выше и выше, пока восхищенный взгляд не останав-

ливался, наконец, на самых верхних, самых нежных листочках кроны, дрожавших и сверкавших на светлом, почти серебристо-белом фоне далекой небесной лазури. Проворные, грациозные белочки весело, живо и игриво качались и перепрыгивали с ветки на ветку, с одного дерева на другое, словно носились по воздуху. Это было самое подходящее место для истинного и убежденного служителя и поклонника богини Гигиеи.

– Бывал ты когда-нибудь в Франшаре, Жан-Мари? – спросил своего спутника доктор. – Кажется, нет?

– Никогда, – ответил мальчик.

– Это – развалины среди ущелья, – продолжал доктор, принимая свой поучительный менторский тон. – Развалины отшельнического скита и часовни. В истории говорится довольно много о Франшаре; говорится о том, как часто здесь отшельников убивали разбойники; как они жили в строжайшем воздержании и как все свои дни проводили в молитве. Сохранилось и дошло до нас послание, обращенное к одному из этих отшельников настоятелем его ордена. Всякий монах, видишь ли ты, принадлежал к какому-нибудь ордену, а настоятель являлся главой всего ордена. Послание это замечательно тем, что оно содержит массу самых разумных гигиенических советов; в нем рекомендуется отшельнику оставлять книгу, чтобы стать на молитву, и после молитвы снова приниматься за книгу, чтобы не утомлять себя чрезмерно тем или другим, а кроме того время от времени, как только

почувствует усталость, оставлять и книгу, и молитву и идти в сад наблюдать за пчелами, делающими мед, и умиляться красотой природы. Ну, разве это не моя система в настоящее время? Ты, конечно, не раз замечал, что я отрывался от моей «Фармакопеи», иногда даже бросал ее на полуфразе, чтобы выйти на солнышко, на свежий воздух. Я положительно преклоняюсь перед автором этого послания; по всему видно, что это был человек мыслящий, озабоченный тем, что есть самого существенного и важного. И, право, если бы я жил в средние века – но я от души рад, что этого не случилось, – я, наверное, тоже был бы отшельником, если бы только я не был профессиональным шутом, потому что в те времена только эти две профессии были открыты человеку с философским складом ума. Ему оставалось только смеяться или молиться, или, иначе сказать, смех или слезы. Да, пока не засияло солнце позитивной философии, мудрецу приходилось избирать то или другое из этих двух занятий.

– Я прежде был шутом, – заметил Жан-Мари.

– Не могу себе представить, чтобы ты мог с успехом подвизаться на этом поприще, и едва ли эта профессия была по тебе, – сказал доктор, любуясь серьезным видом мальчика и его важностью при этом заявлении. – Да разве ты когда-нибудь смеешься?

– О, еще бы! – ответил он. – Я часто смеюсь. Я очень люблю шутки!

– Странное существо! – пробормотал Депрэ. – Но я укло-

нился от предмета, – продолжал он, – тысячи признаков и примет дают мне заметить, что я начинаю стареть. Мы говорили о Франшаре. Итак, Франшар был разорен и уничтожен англичанами в ту самую войну, которая стерла с лица земли город Гретц или, вернее, сравняла его с землей. Но самое важное, это вот что: отшельники или монахи, так как в ту пору их было уже довольно много, и скит понемногу разросся в монастырь, предвидели грозящую их монастырю судьбу и заблаговременно зарыли в землю и скрыли драгоценные церковные сосуды, не желая, чтобы они попали в руки нечестивцев и врагов народа. Говорят, что эти сосуды были неимоверной ценности, Жан-Мари, они были из чистейшего золота и превосходнейшей чеканной работы. Заметь, что с тех пор их так и не нашли. В царствование короля Людовика XIV какие-то люди энергично принялись за раскопки развалин Франшара, и что ты думаешь? Вдруг их заступ ударил во что-то твердое, не похожее на землю. Теперь представь себе, как эти люди в недоумении и радости переглянулись между собой; представь себе, как сильно забились у них сердца, как кровь прилила к щекам и как и снова отхлынула к сердцам, и с какой лихорадочной поспешностью они принялись теперь рыть и разгребать землю. Оказался сундук, большой тяжелый сундук, и как раз в том месте, где, по преданию или по слухам, был зарыт клад Франшара! Они раскрыли его и, как голодные звери, кинулись на него! Увы! Это были сокровища монастыря, но не драгоценные церковные сосуды,

а только священнические одежды, которые при соприкосновении с воздухом моментально обратились в прах, точно по колдовству. Пот на лицах этих людей застыл и превратился в холодные, ледяные капли. Жан-Мари, я готов поручиться своей честью, что если в ту минуту был сколько-нибудь резкий ветер, то тот или другой из них непременно схватил бы какую-нибудь легочную болезнь за свои труды! – докончил доктор.

– Я хотел бы видеть, как эти одежды обратились в прах, – сказал Жан-Мари, – я не стал бы и гнаться за этими вещами.

– У тебя нет никакого воображения! – воскликнул доктор. – Ты только представь себе эту сцену: несметные сокровища, лежащие многие века под спудом, глубоко под землею, словно спящие заколдованным сном! Эти сокровища, ведь это, так сказать, то, что могло бы создать беспечную, сытную, роскошную жизнь, лежащее без прока, без употребления; ведь это то, что могло бы купить роскошные одежды, ткани, меха, уборы и дивные художественные произведения; ведь это быстрые, как ветер, рысаки, которые теперь лежат там, под землей, недвижимые, словно над ними висит заклятье. Эти сокровища могли бы вызвать чарующие улыбки на устах красавиц, уста которых сомкнуты теперь!.. Эти сокровища могли бы породить живой, одуряющий, ошеломляющий азарт – перед глазами людей запрыгали бы карты и кости!.. Эти сокровища – ведь это дивное оперное пение! Это стройный оркестр! Это замки, дворцы, роскошные те-

нистые парки, сады! Это суда под сводами белых парусов, несущих их как крылья чайку!.. И все это лежит там, как в гробу, глубоко под землей, и глупые, нелепые деревья вырастают над этими богатствами и шелестят своей листвой, греясь на солнце из года в год. А клад все лежит, где лежал, и никому нет пользы от него… Нет! Одна мысль об этом может привести человека в бешенство! – докончил доктор.

– Ведь это же только богатства, – сказал Жан-Мари, – только деньги; они наделали бы много зла, я уверен.

– Глупости! – горячо воскликнул Депрэ. – Пустая философия! Оно, конечно, все это прекрасно, все эти рассуждения о вреде и зле богатств, я не спорю, но в данном случае они совершенно неуместны. В сущности, это вовсе не «только деньги», как ты говоришь, эти сосуды – дивные произведения искусства! Это старинная чеканная работа, художественная работа! Ты рассуждаешь как ребенок! Меня раздражает твоя привычка повторять ни к селу, ни к городу мои слова без всякого смысла и толка, точно попугай!

– Ну, да ведь нам нет никакого дела до этого клада, – примирительно сказал мальчик.

В этот момент они выехали на большую дорогу. Одноколка застучала по камням шоссе, и этот стук после мягкой лесной дороги, почти совершенно бесшумной, в связи с раздражением доктора заставил его замолчать. Тем временем одноколка продолжала катиться вперед, и высокие деревья леса постепенно уходили в даль, как будто безмолвно смотре-

ли вслед проезжим, точно у них было что-то на уме. Миновав Квадрилатераль, они вскоре въехали в Франшар. Здесь они оставили свою одноколку и лошадь в одиноко стоящей маленькой гостинице, а сами пошли бродить около развалин. Все ущелье густо заросло вереском, и каменные глыбы скал и стройные березы особенно резко выделялись на этом фоне, освещенные ярким солнцем. Непрерывное жужжание пчел над цветами вереска располагало ко сну. Жан-Мари опустился на траву и, удобно расположившись под кустом, решил вздремнуть, тогда как доктор оживленно ходил взад и вперед, круто поворачиваясь и зорким глазом отыскивал интересные для него экземпляры лекарственных трав. Голова мальчика слегка склонилась на грудь, глаза сомкнулись, руки бессильно упали на колени, он задремал. Вдруг раздавшийся вблизи его внезапный крик заставил его разом вскочить на ноги. Это был странный, пронзительный, но короткий возглас, как будто оборвавшийся на половине звук. Звук этот мгновенно замер, и кругом снова воцарилась полная тишина, как будто ее никто не прерывал. Жан-Мари даже не узнал в этом возгласе голоса доктора Депрэ, но так как во всей ложбине не было живой души, кроме них, то было ясно, что этот возглас издал не кто иной, как доктор. Мальчик оглянулся вправо и влево и увидел наконец доктора Депрэ, стоявшего в нише, образуемой двумя каменными глыбами; он как будто искал глазами своего спутника, сам бледный как полотно.

– Змея? – воскликнул Жан-Мари, кинувшись к нему. – Змея? Она вас укусила? – Но вместо ответа доктор, тяжело ступая, с трудом выбрался из ниши и молча пошел навстречу мальчику, которого он, подойдя, грубо схватил за плечо.

– Я его нашел! – громко выкрикнул он задыхающимся голосом.

– Какое-нибудь редкое растение? – спросил Жан-Мари.

На это Депрэ неестественно громко расхохотался; скалы подхватили этот смех, и эхо передразнило доктора.

– Растение! – повторил доктор почти злобно. – Редкое растение! Да, поистине, очень редкое! А вот, – и при этом он вдруг вытянул вперед свою правую руку, которую он до сих пор держал спрятанной за спиной, – это одна из его цветочных чашечек!

Глазам Жан-Мари предстало грязное блюдо с налипшими комками земли и глины!

– Это? – сказал он. – Да ведь это тарелка!

– Нет, это карета, запряженная рысаками! – воскликнул доктор. – Слушай, мой мальчик, – продолжал он все более и более воодушевляясь, – я содрал там большой пласт мха из этой трещины между двух утесов; под этим мхом оказалась большая щель, и когда я заглянул в нее, я увидел… как ты думаешь, что я увидел там? Я увидел роскошный дом, дворец в Париже, с прекраснейшим парадным двором и садом, я увидел мою жену, сверкающую бриллиантами, я увидел себя депутатом, я увидел тебя, да-да, я увидел тебя в будущем… –

докончил он уже с меньшим воодушевлением. – Короче сказать – я открыл Америку! – добавил он.

– Да что же это такое? – спросил мальчик, недоумевая.

– Это Франшарский клад! – воскликнул доктор. – Я нашел его! – И он кинул свою соломенную шляпу на траву и издал возглас, напоминающий крик индейцев на военной тропе. Затем он бросился к Жану-Мари и стал душить его в своих объятиях, смачивая его лицо и волосы своими слезами, после чего он растянулся на траве и захохотал так, что, вторя ему, загоготало эхо и раскатилось по всей лощине.

Но мальчик уже не обращал на него внимания; в нем проснулся другой интерес, интерес любопытного мальчугана, и едва он избавился от докторских объятий, как побежал к двум глыбам скал, вскочил в нишу, образовавшуюся между ними, и, запустив свою руку в трещину или щель в глубине ниши, стал доставать оттуда один за другим облепленные комьями земли и глины различные предметы: чаши, сосуды, светильники и кадильницы, – словом, все скрытое здесь отшельниками Франшарского монастыря. Последним он достал драгоценный ларец, тщательно запертый и весьма тяжелый.

– Вот так штука! – воскликнул мальчуган.

Но когда он оглянулся на доктора, который последовал за ним и стоя за его спиной молча следил за ним, слова замерли у мальчика на устах. Опять лицо доктора было бледно, землисто-серо, губы его подергивались и дрожали; им овладела

какая-то чисто животная алчность.

– Это ребячество! – проговорил доктор почти строго. – Мы теряем драгоценное время. Скорее беги в гостиницу, возьми одноколку и пригони ее вон к тому валу или насыпи. Беги как можешь скорее и помни: ни гу-гу, ни слова, ни звука, слышишь? Я останусь здесь сторожить.

Жан-Мари исполнил все, как ему было приказано, но не без удивления и некоторого недоумения. Он пригнал одноколку к указанному месту, и затем оба они вместе переносили все найденные ими драгоценности от того места, где они были найдены, в ящик под кучерским сиденьем. Когда все было убрано и уложено в ящик, доктор сразу повеселел, словно гора свалилась у него с плеч.

– Приношу дань признательности доброму гению этой лощины, вместо жертвенного костра, жертвенного тельца и жбана вина. Кстати, я весьма расположен сейчас к последнего рода жертвоприношению, то есть к возлиянию, и почему бы нам не устроить возлияние в честь этого неизвестного доброго гения? Мы сейчас во Франшаре, и здесь можно получить английский светлый эль, ну, не классический, конечно, но прекрасный. Мы с тобой выпьем эля, мальчуган!

– Но я полагал, что этот напиток вреден, что пить его очень нездорово и, кроме того, он дорог! – сказал Жан-Мари.

– Та-та-та! – весело воскликнул доктор. – Едем в гостиницу.

И с этими словами он легко и проворно вскочил в свою одноколку, покачивая головой, совершенно повеселевший и помолодевший. Повернули лошадь, и через несколько секунд они уже подъехали к изгороди, которой был обнесен прилегавший к гостинице сад.

– Привяжи лошадь здесь, – сказал доктор, – здесь, поближе к столику, чтобы мы могли не спускать глаз с наших вещей.

Привязав лошадь, они вошли в сад и сели за столик. Доктор вошел, громко распевая то на невероятно высоких нотах, то извлекая глухие раскаты откуда-то из глубины своей гортани; затем он громко постучал пальцами по столу и потребовал эля. Он шутил и острил со слугой, и когда наконец на столе появилась желанная бутылка несравненно более насыщенная газом и потому пенившаяся гораздо сильнее, чем самое упоительное шампанское, он наполнил высокий стаканчик пеной и пододвинул его через весь стол к Жану-Мари.

– Пей, – сказал он, – пей все до дна!

– Я бы предпочел не пить, – робко возразил мальчик, помня преподанные ему наставления.

– Что? – прогремел громовым голосом доктор Депрэ.

– Я боюсь эля, у меня желудок… – сказал Жан-Мари, но доктор не дал ему докончить.

– Хочешь – пей, не хочешь – не пей! – почти свирепо накинулся на него доктор. – Только заметь себе раз навсегда, что ничего не может быть противнее педанта!

Это было нечто совсем новое для Жана-Мари, и он сидел над своим стаканом эля, не притрагиваясь к нему, погруженный в свои размышления, тогда как доктор то и дело опоражнивал и снова наполнял свой стакан. Сначала хмурясь, с недовольным видом, но постепенно поддаваясь влиянию солнца, игристого хмельного напитка и своему природному предрасположению чувствовать себя счастливым и довольным, доктор скоро повеселел.

– В кои веки раз, при случае, – сказал он наконец полуназавительно, делая этим своего рода уступку мальчику, – в кои веки раз, да еще при таких исключительных обстоятельствах!.. Этот эль настоящий нектар, напиток богов!.. Привычка тянуть постоянно эль – действительно унизительна и позорна. Вино, чистый виноградный сок – это настоящий напиток каждого француза, как я уже не раз имел случай доказывать тебе, и я, конечно, нисколько не осуждаю тебя за то, что ты отказываешься от этого заморского возбуждающего средства. Тебе могут подать вина и сладких пирожков или пирожных. Что, в бутылке уже пусто? Ну что же, мы не побрезгуем и твоим стаканом! Нечего делать, надо над ним сжалиться!

Когда все пиво было выпито, доктор принялся ворчать и раздражаться на Жана-Мари, пока тот доедал свои сладкие пирожки.

– Я сгораю от нетерпения скорее убраться отсюда, – сказал он, поглядывая на свои часы. – Боже правый, как ты долго

ешь! Ты жуешь так медленно, точно беззубый старец!

А между тем сам он строжайше предписывал всегда жевать как можно медленнее, потому что в этом весь секрет долголетней жизни и здорового, исправного желудка.

Наконец его мучения окончились; оба они сели на свои места, в одноколку. Доктор Депрэ, удобно развалясь на заднем сиденье, объявил о своем решении ехать отсюда в Фонтенбло.

– В Фонтенбло? – переспросил Жан-Мари, не веря своим ушам.

– Я никогда не трачу даром слов! – грозно оборвал его доктор. – Раз я сказал, то этого должно быть довольно! Ну, пошел!

Доктору казалось, что он едет по райским долинам; все его восхищало и пленило, и все сливалось в каком-то блаженном самочувствии: и чудный свежий воздух, и яркое солнце, и зеленая ласкающая глаз листва на деревьях, и даже само движение одноколки, все это как будто дополняло его золотые мечты. Откинув назад голову и прищурив глаза, он сладко мечтал; перед ним проносились самые радужные видения; в его мозгу эль и радость творили чудеса; все, казалось, плясало и радовалось в его душе. Наконец он заговорил:

– Я хочу телеграфировать Казимиру, – сказал он. – Добрейшей души человек, но самого низкого порядка в отношении умственного развития, – ни на грош творческих способностей, ни капли поэзии; а вместе с тем он стоит любого уче-

ного. Он сумел составить себе большое состояние и всецело обязан им самому себе и своим стараниям. Он самый подходящий человек для того, чтобы помочь нам реализовать, то есть обратить в деньги, наши драгоценности; он же найдет для нас подходящий дом в Париже и позаботится обо всем необходимом. Чудеснейший человек, и к тому же еще один из моих старейших товарищей! По его совету, могу я добавить, я поместил свой маленький капитал в турецкие акции, и теперь, когда мы приобщим к ним эту нашу добычу из развалин средневекового монастыря, то вместе с той долей, какую мы уже имеем в фондах мусульманского государства, мы с тобой, милый мальчуган, будем прямо-таки утопать в деньгах, да! Положительно утопать! Чудесные леса! – воскликнул он. – Прощаюсь с вами! Но хотя меня и призывают иные картины, я никогда не забуду вас! Память о вас запечатлелась в моем сердце! Ты видишь, Жан-Мари, что под влиянием свалившегося на меня благополучия я начал слагать дифирамбы! Таков естественный импульс души, таково было душевное состояние первобытного человека. А я – я не стану отрицать несомненного факта из ложной скромности: да, я сохранил юность души своей во всей ее девственной неприкосновенности; другой человек, который бы прожил все эти годы этой сонной, деревенской жизнью, без сомнения, заплесневел бы, размяк и стал бы однообразным, односторонним человеком, а я, я могу считать себя счастливым тем, что судьба наделила меня такой, натурой, которая

помогла мне сохранить в себе всю гибкость, весь подъем, всю энергию человека, живущего полной жизнью. Новые богатства и новая сфера деятельности! Новый круг обязанностей застает меня полным сил и бодрости, полным энергии и жажды деятельности и только еще более созревшим, благодаря вновь приобретенным знаниям. И эта предстоящая перемена, Жан-Мари, вероятно, поразила тебя во мне. Ну, скажи мне теперь, разве это не показалось тебе чем-то вроде непоследовательности с моей стороны, чем-то вроде непостоянства? Ведь да? Признайся, напрасно ты стал скрывать, ведь это тебя огорчило?

– Да, – тихо произнес мальчик.

– Вот видишь, – воскликнул доктор с неподражаемой хвастливостью, – видишь, я положительно читаю у тебя в мыслях! И я ничуть этим не удивлен. Ведь твое воспитание еще далеко не закончено, и высшие обязанности человека по отношению к себе и к обществу еще не были изложены тебе. Я еще не имел времени ознакомить тебя с ними. Но сейчас достаточно будет пока одного намека на них, мы поговорим с тобой об этом впоследствии, когда будет время. Теперь, когда я снова волей судеб стал самостоятельным человеком, после того как я так долго готовился в безмолвных размышлениях, в глубоком изучении себя и законов природы, теперь мой долг призывает меня в Париж! Мои научные познания, мой несомненный дар слова – все это предназначает меня на служение моему народу и родной стране. Ложная скром-

ность в данном случае была бы только простой уловкой; если бы слово «грех» было философическим словом, я сказал бы, что это был бы грех! Человек никогда не должен отрицать своих несомненных, очевидных и явных способностей и дарований, потому что это значит уклоняться от своих обязательств, от тех обязательств, которые вложены в него самой природой, наделившей его этими способностями; вот почему и я должен воспрянуть и приняться за дело, и делать свое дело! Я не должен быть трутнем или трусом в жизни, я не имею на это право!

Так он тараторил без умолка стараясь замаскировать словами свою непоследовательность, скрыть от чужих глаз трещину в скрижалях его недавних заветов, под пестрыми цветами красноречия; а мальчик слушал его молча, глядя на круп лошади и думая свою думу. Мозг его работал лихорадочно, напряженно, но уста безмолвствовали. Никакие слова не могли поколебать убеждений Жана-Мари, и он въезжал теперь в Фонтенбло преисполненный горечью, сожалением, негодованием, возмущением и отчаянием.

По приезде в город Жан-Мари должен был оставаться пригвожденным к своему месту на козлах ради охраны находившихся в ящике под козлами сокровищ, а доктор Депрэ порхал с какой-то странной воздушной легкостью, живостью и проворством манер из одного кафе в другое, пожимал дружески руки гарнизонным офицерам, с видом и искусством опытного знатока пил абсент (полынную водку), порхал из

одного магазина в другой и возвращался нагруженный самыми разнообразными покупками: дорогими фруктами, настоящей, только что заколотой черепахой, куском превосходной шелковой материи для жены, какой-то нелепой тросточкой для себя и даже самого новейшего фасона кепи для Жана-Мари. Он входил и выходил в двери телеграфной станции, где он отправил депешу, и спустя три часа получил ответ от Казимира с обещанием приехать завтра, согласно полученному приглашению; словом, Депрэ осчастливил Фонтенбло первым ароматным дыханием своего в высшей мере благодушного настроения, озарил его первыми лучами своего счастья.

Солнце было уже совсем низко, когда они наконец тронулись в обратный путь. Тени от деревьев ложились поперек широкой белой дороги, ведущей к дому; вечернее благоухание леса неслось, как облака курений, над морем вершин зеленого леса и даже в улицах города, где накалившийся в течение дня воздух, сдавленный между белых раскаленных стен целого ряда домов, раньше был душен и неприятен, а теперь сменился приятной, отрадной прохладой, и даже здесь повеяло ароматами леса, которые приносила сюда попутная струя ветра, точно отдаленные звуки музыки. Они были на полпути от дома, когда последнее золотое пятнышко заходящего солнца сбежало с большого старого дуба, стоявшего по левую сторону от дороги; и когда они выехали из пределов леса, то долина уже подернулась прозрачной дымкой легко-

го тумана, и громадная бледная луна медленно всплывала на небо, красиво просвечивая сквозь тонкую и нежную листву тополей.

Доктор то пел, то свистел, то без умолку говорил. Он говорил о лесе, о войнах и об осаждении рос; и весь загораясь, начинал рассказывать о Париже; он положительно уносился в облака и в приподнятом, почти высокопарном слоге превозносил славу и заслуги политической карьеры.

Все должно было измениться отныне, и с угасающим днем уносились последние следы изжитой прежней жизни. На следующее утро должна была взойти заря новой жизни.

– Довольно! – воскликнул он. – Пора положить конец этому умерщвлению плоти! Жена моя еще красива и прелестна (или я жестоко пристрастен к ней), она не должна оставаться долее похороненной в этой глуши, она теперь должна блистать в обществе. А Жан-Мари увидит весь свет у своих ног, и все дороги к успеху, к богатству, к почестям будут ему открыты, и посмертная слава будет обеспечена ему, и самому мне также! Ах да, кстати! – добавил он. – Бога ради, прошу тебя, не болтай никому о нашей находке; ты, я знаю, парень не общительный, даже, пожалуй, чересчур молчаливый, – это качество я с радостью признаю за тобой, потому что пословица гласит: «речь – серебро, а молчание – золото»! Но в данном случае молчание очень важно. Никто не должен знать о нашем кладе, понимаешь ли ты? Только одному добрейшему Казимиру можно доверить эту тайну; нам,

вероятно, придется даже переправить эти сосуды в Англию и там реализовать их.

– Но разве они не наши? – воскликнул мальчик с рыданием в голосе. И это были единственные слова, какие он произнес за все это время.

– Наши в том смысле, что они никому другому сейчас не принадлежат, – ответил доктор. – Но правительство может предъявить свои права, если станет известно, что мы нашли клад; и представь себе, каковы наши законы: так как мы не заявили о кладе, то в случае, если бы у нас его похитили, мы не имеем права потребовать, чтобы нам его вернули, потому что по закону мы не имеем на него прав. Мы не можем начать дела о розыске, не можем заявить о пропаже полиции…[1]. Все это очевидные примеры тех недочетов и несправедливостей нашего законодательства, которые еще остается исправить деятельному, энергичному и решительному депутату с философским складом мыслей.

Жан-Мари ничего на это не ответил – он все свои надежды возлагал теперь на госпожу Депрэ. И когда их одноколка стала спускаться по обсаженной тополями дороге, ведущей из Буррона в Гретц, Жан-Мари усердно шептал про себя молитву и стал погонять лошадь, требуя от нее необычайной рыси. Без сомнения, как только они приедут, madame проявит свой характер и положит конец этому дикому бреду на-

---

[1] Этот поклеп на законы несправедлив, но он нужен автору для целей его рассказа. *(Примеч. авт.)*

яву.

Их въезд в Гретц был возвещен неистовым лаем всех деревенских псов, как будто все они чуяли присутствие клада в одноколке. Но на улице не было никого, кроме трех приезжих художников пейзажистов, прохаживавшихся перед гостиницей госпожи Тентальон. Жан-Мари распахнул зеленые ворота и ввел во двор лошадь с одноколкой; почти в тот же момент госпожа Депрэ появилась на пороге кухонного крыльца с зажженным фонарем в руках. Так как луна была еще недостаточно высоко, чтобы осветить двор и проникнуть за ограду сада, то во дворе было еще темно.

– Запирай ворота и калитку, Жан-Мари! – крикнул доктор, вылезая из экипажа и не совсем твердой поступью обходя его кругом. – А где Алина, Анастази?

– Она отпросилась в Монтеро повидаться с родными, – сказала госпожа Депрэ.

– В таком случае все устраивается к лучшему! – воскликнул доктор с жаром. – Иди сюда скорее, Анастази, и подойди как можно ближе ко мне, потому что я не хочу говорить слишком громко. И затем прибавил: – Мы с тобой богаты теперь, дорогая моя!

– Богаты! – повторила за ним жена.

– Да, мой ангел, очень богаты! Ведь я нашел клад Франшарского монастыря, – продолжал супруг. – Смотри, вот первые плоды! Гранаты, ананас! Вот шелковое платье для тебя; оно тебе пойдет как нельзя лучше, поверь вкусу му-

жа, вкусу влюбленного! Я лучше всех знаю, что тебе к лицу! Ну, поцелуй же меня, моя красавица!.. Скучный период нашей жизни миновал; теперь бабочка расправит свои пестрые крылышки! Завтра придет Казимир, а через неделю мы уже можем быть в Париже! Наконец-то мы будем счастливы! У тебя будут бриллианты, выезды, слуги. Жан-Мари, вынимай все из ящика, да осторожнее, и неси все, одну вещь за другой, прямо в столовую. Теперь у нас на столе будет серебро, да! Ты только поторопись, моя ненаглядная, приготовить эту черепаху; это будет прекрасным добавлением к нашим повседневным скудным яствам… Я сам схожу в погреб и принесу оттуда к столу бутылочку того прекрасного божоле, которое ты так любишь; да, кстати, надо кончать и «Эрмитаж»! Его осталось еще три бутылки… Это, душа моя, редкое вино, приличествующее такому редкому случаю, как сегодняшний!

– Но, милый супруг мой, у меня голова идет крутом от твоих речей, я в толк взять не могу…

– Черепаху-то, черепаху, душа моя, готовь скорее! – И он ласково втолкнул ее в кухню с черепахой и с фонарем в руках.

Жан-Мари стоял как ошеломленный. Он ожидал совсем другого. Совершенно иначе представлял он себе эту сцену: он ждал более энергичного протеста со стороны жены доктора; он ожидал, что она сейчас же постарается образумить мужа, укажет ему на его сумасбродство, станет упрекать его

в непоследовательности, в неблагоразумии – но ничего подобного! И его надежды на нее стали разлетаться и рассыпаться в прах.

Доктор был положительно вездесущ. Он суетился, хлопотал, торопливо шмыгал туда и сюда, не совсем твердо держась на ногах и то тут, то там задевая плечом об стену. Он уже давно не пил абсента и теперь сам рассуждал о том, что лучше было бы его не пить.

– Абсент – это какое-то недоразумение, а не напиток! – говорил он.

Не то чтобы он раскаивался, что позволил себе выпить лишнее в такой знаменательный и счастливый день, нет! Но он мысленно решил впредь быть осторожнее и остерегаться этого коварного напитка и давал себе слово вторично не поддаваться столь предосудительной и пагубной привычке!

В одно мгновение ока он слетал в погреб и принес оттуда вино; затем расставил драгоценную церковную утварь, канделябры и сосуды, все еще облипшие исторической пылью, землей и глиной, частью на белоснежную скатерть на обеденном столе, частью на буфет.

Он то и дело заходил на кухню, неотвязчиво потчуя Анастази вермутом и разжигая ее воображение соблазнительными картинами будущего благополучия и роскошной жизни. С каждым разом он все увеличивал цифру их вновь приобретенного богатства, так что, прежде чем семья села за стол, благоразумная и рассудительная госпожа Депрэ утра-

тила окончательно эти свои добрые качества и совершенно растаяла на огне горячего энтузиазма своего восторженного супруга. Ее обычная сдержанность и молчаливость исчезли; она тоже была несколько под хмельком; с горящими глазами и румянцем возбуждения на щеках она говорила много и пренебрежительно отзывалась теперь об их мирной и скромной жизни в Гретце. Садясь за стол и разливая суп, госпожа Депрэ уже смотрела на все совершенно иными глазами; ее глаза горели уже теперь блеском ожидаемых в будущем бриллиантов. Во все время ужина и она, и доктор продолжали строить сказочные планы, поддразнивали друг друга, подшучивали и подсмеивались один над другим, кивали друг другу и готовы были биться об заклад о разных пустяках. При этом лица их расплывались в счастливых улыбках, глаза сыпали искры, особенно в те моменты, когда они предвкушали политические успехи, почести и величие доктора и салонные победы, триумфы и овации madame Депрэ.

– Но ты, во всяком случае, не станешь красным! – воскликнула Анастази.

– Я принадлежу к левому центру, – заявил доктор.

– Madame Гастейн введет нас в общество. О нас, верно, успели уже позабыть, – сказала супруга.

– Забыть? Никогда! Красота и изящество всегда оставляют о себе след и воспоминание! – запротестовал доктор.

– Но я положительно разучилась одеваться, – со вздохом промолвила Анастази.

– Душа моя, ты заставляешь меня краснеть! – воскликнул муж. – Твой брак со мной был, можно сказать, трагедией; я вырвал тебя из общества и заточил в этой глуши, в этой забытой всеми деревеньке!

– Но зато теперь твои успехи, радость видеть тебя оцененным по достоинствам, окруженным почетом, видеть имя твое прославленным всеми газетами, это будет уже более чем радостью, это будет блаженством для меня! – воскликнула она, впадая в восторженный тон мужа.

– А раз в неделю, – сказал доктор, лукаво подчеркивая эти слова и умышленно скандируя их, – раз в неделю мы позволим себе поиграть в баккара!

– Только раз в неделю? – спросила она, усмехаясь и грозя ему пальчиком.

– Клянусь тебе моей честью, честью политического деятеля!

– Право, я балую тебя, – сказала она и протянула ему свою ручку для поцелуя.

Он восторженно прильнул к ней и стал покрывать ее поцелуями.

Жан-Мари незаметно выбрался из дома в сад. Луна стояла высоко на небе, заливая своим мягким светом Гретц. Мальчик прошел в самый конец сада и сел на скамеечку у пристани. Мимо тихо струилась река, серебристыми переливами сверкала вода под луной, напевая тихую однозвучную песню свою; легкая дымка тумана колебалась между тополями по

ту сторону реки; камыши медленно склонялись и как будто кивали кому-то. Все это мальчик видел уже сотни раз, сотни раз он в такие же лунные ночи сидел здесь, над этой сонной рекой, и с невозмутимым спокойствием духа и воображения следил за ее спокойным течением. А теперь это было, быть может, в последний раз. Он должен был покинуть эту мирную деревушку, где все было ему знакомо и мило, эту местность, зеленеющие кругом луга и шелестящие своей листвой леса и эту светлую спокойную реку, покинуть это все и переселиться в большой город; и его милая госпожа будет разряженная расхаживать по гостиным, вращаться в блестящих салонах; а его добродушный, словоохотливый мягкосердечный наставник станет крикливым и вздорным депутатом, и оба они будут навсегда потеряны для него, для Жана-Мари, и утратят лучшие свои душевные качества. Жан-Мари отлично сознавал и свои недостатки, и свое положение; он понимал, что в водовороте шумной, суетливой столичной жизни с ее ложными амбициями и претензиями изменится и его личное положение в семье, что там на него будут обращать все меньше и меньше внимания, все меньше и меньше будут считаться с ним, и постепенно из приемного сына он обратится в слугу. И он смутно начинал верить в осуществление зловещих предсказаний доктора; он сейчас уже видел разительную перемену в обоих. На этот раз даже его обычное великодушное отрицание слабостей его благодетелей изменило ему, да и не удивительно, малый ребенок

заметил бы, что «Эрмитаж» довершил то, чему положил основание абсент. И если это было в первый день перемены обстоятельств, то чего же следовало ожидать в дальнейшем? «Если потребуется, останови поезд! Вызови крушение, если это будет нужно!» – припоминал он собственные слова доктора. И он окинул взглядом очаровательную картину мирно спящей окрестности, с наслаждением потянул в себя воздух, насыщенный ароматами свежескошенного сена, и снова прошептал: «Вызови крушение поезда, если это будет нужно» – глубоко вздохнул и в тяжелом раздумье побрел в дом.

Глава VI. Двойное следствие

На следующее утро в доме доктора было необычайное волнение. Перед отходом ко сну доктор запер собственноручно все свои драгоценности в буфет, стоящий в столовой, и представьте себе, когда он встал поутру, как обыкновенно, около четырех часов и вышел в столовую, то увидел, что буфет взломан и все хранившиеся в нем драгоценности унесены. Тотчас же были вызваны из их спален и madame, и Жан-Мари, которые явились на зов, наскоро накинув на себя кое-какие принадлежности туалета, и застали доктора вне себя от огорчения. Он положительно безумствовал, взывал к небесам, призывая всех в свидетели постигшей его несправедливости, призывал громы небесные и взывал к отмщению, бегая босиком по комнатам с развевающимся подолом его ночной сорочки.

– Пропали! – восклицал он. – Все драгоценные предметы пропали, и вместе с ними и наше богатство! И мы опять нищие, беднота, голь! Мальчуган, скажи, знаешь ты что-нибудь об этом? Говори скорее, сударь, говори все, что тебе известно! Знаешь ты, куда они могли деться! Где они?

И он ухватил мальчугана за плечо и стал трясти его как кулек, так что слова, если только это были слова, посыпались у мальчика с уст неразборчивым лепетом, из которого ничего нельзя было понять.

Придя немного в себя от своего возбуждения, доктор отпустил мальчика и увидел Анастази в слезах.

– Анастази! – сказал он совершенно иным тоном. – Возьми себя в руки, овладей собой и своими чувствами; я не желал бы видеть тебя ревущей, как простая баба. Это пустяшное происшествие должно быть поскорее забыто! Надо уметь с достоинством переносить всякие невзгоды, а не только такие сравнительно маловажные пустяки. Жан-Мари, принеси мне мою маленькую походную аптечку; в подобных случаях рекомендуется какое-нибудь легкое слабительное.

И он дал всем соответствующую дозу такого лекарственного снадобья, начиная с самого себя, приняв, ради примера остальным, двойную дозу. Несчастная Анастази, никогда ничем не болевшая и питавшая почти суеверный ужас перед всякого рода лекарствами, залилась горючими слезами, долгое время отбивалась, протестовала и отнекивалась, наконец хлебнула; затем снова пришлось прибегать к прикрикиванию, понуканию, чуть не угрозам, чтобы принудить ее допить остальное. Что же касается Жана-Мари, то он стоически проглотил поднесенную ему дозу слабительного без малейшего возражения.

– Я ему дал меньшую дозу, – заметил доктор, – его молодость ограждает его от слишком сильных потрясений; в его годы волнения не так сильно отражаются на организме!.. Нус, а теперь, приняв меры против могущих быть неприятных последствий, мы можем приступить к обсуждению случив-

шегося.

– Я озябла, мне холодно, – стала жаловаться Анастази.

– Холодно! – воскликнул доктор. – Благодарю Бога, что он создал меня из более горячего материала! Ведь подобный удар мог бы вызвать испарину даже у лягушки! Если ты озябла, то можешь идти к себе, в свою спальню, да, кстати, кинь мне сверху мои брюки, а то у меня ноги зябнут.

– Ах, нет, – воскликнула Анастази, – а хочу остаться здесь с тобой!

– В таком случае, сударыня, я не допущу, чтобы вы страдали за вашу супружескую преданность; я сейчас пойду и принесу вам шаль.

Он побежал наверх и вскоре вернулся более одетый и с целой охапкой шалей, платков и пледов для дрожащей от холода Анастази.

– Ну, а теперь, – заявил он, – приступим к расследованию сего преступления. Будем придерживаться дедуктивного метода. Анастази, не знаешь ли ты чего-нибудь, что могло бы навести нас на след?

Но Анастази ровно ничего не знала.

– А ты, Жан-Мари?

– Я тоже ничего не знаю, – твердым голосом ответил мальчик.

– Прекрасно, – сказал доктор, – теперь мы обратим наше внимание на вещественные доказательства (я, очевидно, рожден быть сыщиком, у меня и глаз верный, и системати-

ческий склад ума). Итак, прежде всего мы видим, что кража была произведена со взломом; дверцы буфета раскрыты, замок поврежден; и следует мимоходом заметить, что замок был из дорогих, судя по тому, сколько я за него заплатил. Затем, вот орудие, которым был произведен взлом! Это один из наших же столовых ножей, да еще один из лучших, дорогая моя. Этим доказывается, что кража эта была не предумышленная со стороны шайки грабителей, если только в этом случае действовала шайка. Наконец, я замечаю, что ничего, кроме драгоценностей Франшарского клада, не тронуто. Даже все наше столовое серебро осталось в полной неприкосновенности. Это весьма хитро и предусмотрительно со стороны грабителей. Это доказывает основательное знакомство с положением о наказаниях и желание избежать всего, что могло бы повлечь за собой малейшую ответственность перед законом. Из этого я вывожу заключение, что данная шайка насчитывает в числе своих членов людей почтенных, то есть, конечно, только внешне почтенных, как то доказывает сам факт хищения; а во-вторых, я утверждаю, что за нами тайно следили в течение всего вчерашнего дня и в самом Франшаре, где за нами подглядел какой-нибудь очевидец нашей находки, выследивший нас с искусством и ловкостью настоящего сыщика и с терпением, могу сказать, необычайным. Какой-нибудь заурядный преступник или случайный вор не в состоянии был бы проявить столько рассудительности и предусмотрительности. Несомненно, что в нашем соседстве

поселились или временно приютились какие-нибудь беглые из тюрьмы разбойники, выдающиеся по уму и ловкости.

– Боже правый! – воскликнула в ужасе Анастази. – Как ты можешь говорить такие вещи, Анри!..

– Полно, возлюбленная моя, ведь я пришел к этому путем дедуктивного метода, – сказал доктор, – и если какой-нибудь из моих выводов тебе кажется неверным или ошибочным, останови меня, поправь! А, ты молчишь! В таком случае умоляю тебя, не будь столь возмутительно нелогична, не ропщи на мои выводы! Как видите, мы теперь уже установили некоторые данные относительно состава шайки, потому что я все-таки склоняюсь в сторону предположения, что их было более одного человека, а затем мы можем теперь покинуть эту комнату, которая не представляет для нас более никакого интереса, и перенесем наше внимание на двор и сад. Жан-Мари, я надеюсь, что ты внимательно следишь за моим образом действий в данном случае. Это может послужить тебе превосходным уроком, имеющим весьма важное значение. Пойдемте со мной к двери. Как видите, на дворе не видно никаких следов – это потому, что наш двор, к несчастью, мощеный. Вот от каких пустяков иногда зависит участь этих следствий! Э! Да что это я вижу! Ну, теперь я уверен, что привел вас к самой развязке грабежа! – вдруг воскликнул доктор, величественно отступив назад и указывая торжественным жестом на зеленые ворота и забор. – Видите вы, здесь воры перелезли через ворота!

Действительно зеленая краска в нескольких местах облупилась и была содрана, и на одной из досок явственно сохранился след подбитого гвоздями сапога; очевидно, нога соскользнула в этом месте, а потому определить размер этой ноги было трудно и совершенно невозможно судить о форме самих гвоздей.

– Вот вам полная картина всего преступления! – торжествующе заключил доктор. – Шаг за шагом я восстановил его от начала до конца! Далее этого дедуктивный метод не может идти.

– Удивительно, право! – сказала супруга. – Тебе бы в самом деле быть сыщиком, мой друг, я не имела представления, Анри, что ты обладаешь такими талантами.

– Дорогая моя, – снисходительно пояснил доктор, – человек науки с живым воображением всегда совмещает в себе и остальные низшего порядка способности; он одновременно и следователь, и сыщик, и публицист, и главнокомандующий, потому что все это только, так сказать, различные применения его обширных основных талантов и способностей. Ну, а теперь, – продолжал он, – желаете вы, чтобы я пошел еще дальше, чтобы я, так сказать, наложил руку на виновников преступления, или, вернее, так как я не могу вам обещать этого, желаете вы, чтобы я указал вам тот дом, в котором они сговаривались и совещались перед преступлением и где они, быть может, и теперь еще находятся? Все же это будет своего рода удовлетворением для нас, так как это, во вся-

ком случае, все, что возможно получить при данных условиях, когда мы лишены поддержки закона. Итак, я продолжаю идти далее по тому же пути. Чтобы дополнить набросанную мною картину воровства, необходимо, чтобы человек, решившийся на это дело, имел возможность и привычку бродить без определенной цели по лесу, чтобы это был человек, не лишенный известного образования, чтобы это был человек, стоящий выше всяких требований морали. Все эти необходимые условия мы находим у квартирующих у госпожи Тентальон жильцов. Они художники, живописцы, и к тому же еще пейзажисты, а следовательно, они только и делают, что слоняются по окрестностям, по полям и лесам. Затем, как художники, они, вероятно, люди не без всякого образования, нахватавшиеся верхушек там и сям, и наконец, так как они живописцы, то, конечно, это люди без всякой морали, и это я могу доказать двумя способами: во-первых, тем, что живопись – это такого рода искусство, которое что-то говорит только глазу и отнюдь не влияет на моральные чувства человека, а во-вторых, живопись наравне со всеми остальными искусствами требует от своих служителей усиленного воображения, а человек с чрезмерно развитым воображением никогда не может быть нравственным. Он постоянно залетает за пределы дозволенного и рассматривает жизнь под разными углами зрения, видит ее в различном, часто колеблющемся свете и не может удовольствоваться и примириться с ненавистными ему требованиями и постанов-

лениями закона.

– Но ведь ты раньше всегда говорил – по крайней мере я так тебя всегда понимала, – что у этих молодцов нет решительно никакой фантазии, никакого воображения! – заметила мадам.

– Напротив, душа моя, они проявили уже свое воображение тем, что избрали эту нищенскую профессию художников, проявили самое фантастическое воображение, говорю я тебе, а кроме того – и это аргумент, вполне соответствующий уровню твоего понимания, моя дорогая, – большая часть из них англичане или американцы; а где же, как не среди этих двух наций, искать воров! Ну, а теперь тебе следовало бы позаботиться о кофе, моя возлюбленная; то, что мы лишились наших сокровищ, еще не есть основание для нас умирать с голоду! Что касается меня, то я прежде всего разговеюсь белым вином. Я чувствую себя необыкновенно разгоряченным, испытываю сильную жажду, и приписываю это исключительно потрясению, испытанному мной в тот момент, когда я обнаружил пропажу. И все же, ты отдашь мне справедливость, я с достоинством и благородством принял и вынес этот удар.

За это время доктор успел уже договориться до того, что вернул себе свое обычное доброе расположение духа. Он сидел теперь в беседке и медленно, но с видимым наслаждением тянул из большого стакана белое вино, проглатывая, словно нехотя, в качестве закуски к вину, крошечные кусоч-

ки хлеба с сыром; и если одна треть его мыслей и была еще занята пропавшими драгоценностями, то уже две трети их, наверное, были поглощены приятным переживанием столь мастерски проведенного им следствия.

Около одиннадцати часов неожиданно прибыл Казимир; ему удалось успеть на ранний поезд, отправлявшийся в Фонтенбло, и оттуда он приехал на лошади, чтобы не терять даром времени. Привезший его экипаж стоял теперь во дворе гостиницы госпожи Тентальон, и он, глядя на свои карманные часы, заявил, что в его распоряжении полтора часа времени. Это был весьма характерный образец делового человека: он говорил уверенным, решительным тоном, имел привычку выразительно и многозначительно хмурить брови. По отношению к Анастази, приходившейся ему родной сестрой, он не проявил никакой особенной нежности, а только наскоро удостоил ее английским родственным поцелуем и тотчас же потребовал, чтобы ему дали поесть.

– Вы можете рассказать мне вашу историю, пока мы будем закусывать, – сказал он. – Ты меня угостишь чем-нибудь вкусным сегодня, Стази?

Та обещала накормить его на славу, и все трое сели за стол в зеленой беседке, а Жан-Мари одновременно и прислуживал, и сам ел тут же за столом. Доктор с необычайными прикрасами, метафорами и всевозможными ухищрениями речи рассказал шурину обо всем случившемся. Казимир слушал его, покатываясь со смеху.

– Экая полоса счастья тебе привалила, мой добрейший братец! – воскликнул шурин, когда доктор окончил свой рассказ. – Благодари Бога, что все так случилось! Ведь если бы ты переехал в Париж, ты бы в три месяца спустил все благоприобретенное твое богатство, да и то, что ты сейчас имеешь, в придачу; и тогда вы опять потянулись бы ко мне, как в тот раз. Но предупреждаю вас, сколько бы ты ни плакала, Стази, и сколько бы ни мудрствовал и ни рассуждал Анри, все это вторично не спасет вас, не вывезет вас из беды, и ваша новая катастрофа неизбежно будет фатальной для вас. Мне кажется, что я уже говорил тебе это, Стази. Что? Не помнишь? Неразумны вы, словно ребята малые.

При этих словах шурина доктор поморщился и взглянул украдкой на Жана-Мари, но мальчик, казалось, ничего не слышал и оставался совершенно апатичным и безучастным к разговору.

– А затем, – продолжал снова Казимир, – какие вы дети, глупенькие, балованные дети! Клянусь честью! Как могли вы оценить так высоко эту рухлядь? Быть может, она стоила всего грош или немногим больше того!

– Ну, извини, – остановил его доктор, – я вижу, что ты сегодня умен не менее обыкновенного, но зато, несомненно, менее рассудителен. Согласись, что я не совсем невежествен в этого рода вещах, что я в них хоть сколько-нибудь понимаю толк.

– Ты не совсем невежествен в чем бы то ни было, о чем

я когда-либо слышал! – засмеялся Казимир с почтительным поклоном по адресу доктора, поднимая свой стакан с несколько преувеличенной галантностью.

– Во всяком случае, – резюмировал свою речь доктор, – я полагаю, что ты не сомневаешься, что я все это основательно обдумал и взвесил, и ты поверишь мне, что, по-моему расчету, эти вещи должны были по меньшей мере удвоить наш капитал.

И он принялся подробно расписывать сами вещи.

– Честное слово, я наполовину верю тебе, Анри! – воскликнул Казимир. – Но пойми, что очень много зависит от качества самого золота.

– А золото, я тебе доложу, дорогой мой, такое! – И не находя соответствующего выражения доктор, смачно причмокнув, поцеловал кончики своих пальцев.

– Твоего свидетельства, мой милейший, еще не вполне достаточно для надлежащей оценки вещей, – заметил деловой человек. – Ты, мой друг, имеешь привычку видеть все в розовом свете; но, во всяком случае, эта кража, это исчезновение – дело весьма загадочное, весьма странное. Конечно, я совершенно отрицаю все твои глупые измышления относительно шайки грабителей и злополучных художников-пейзажистов; для меня все это сплошной бред! А вот ты лучше скажи мне, кто был у вас вчера в доме после того, как вы привезли сюда все эти драгоценные сосуды?

– Да никого, кроме нас, – сказал доктор.

– И вот этот юный джентльмен? – спросил Казимир, кивнув головой по направлению Жана-Мари.

– И он тоже, конечно, – утвердительно ответил доктор.

– Прекрасно! А можно спросить, кто он такой? – продолжал допрашивать гость.

– Жан-Мари, – сказал доктор, – является у нас в доме счастливым сочетанием приемного сына и конюха. Он начал свою карьеру с первого и вскоре достиг высшего положения и в нашем доме, и в наших сердцах. И я смело могу сказать, что в настоящее время он является величайшим утешением в нашей жизни.

– О, вот как! – промолвил несколько насмешливо Казимир. – Ну, а прежде того, как он стал членом вашей семьи, кем он был?

– О, Жан-Мари может похвалиться тем, что его жизнь сложилась самым удивительным образом. Его опыт в высшей степени поучителен, и он пошел ему на пользу, – рассказывал доктор, постепенно воодушевляясь все более и более. – Если бы мне пришлось избирать систему воспитания для моего родного сына, я остановился бы именно на таком воспитании. Представь себе, Казимир, начав жизнь среди паяцев, акробатов и воров, поднялся неизмеримо выше и вошел в общество людей порядочных, приобрел дружбу и уважение почтенного философа и таким образом, можно сказать, изведал всю суть человеческой жизни! – ораторствовал почтенный философ.

– Среди воров? – задумчиво протянул Казимир. – Это любопытно!..

Теперь доктор, кажется, был готов откусить себе язык за это необдуманное слово, сорвавшееся у него в пылу увлечения: он хорошо предвидел, что из этого должно было выйти, и уже готовил в уме самый энергичный протест, самый горячий отпор.

– А сами вы когда-нибудь воровали? – неожиданно обратился Казимир непосредственно к самому Жану-Мари, и при этом он впервые вставил в глаз свой монокль, болтавшийся у него на шнурке.

– Да, сударь, – ответил мальчик твердо и спокойно, но при этом он густо покраснел.

Казимир обернулся к присутствующим и многозначительно поджал губы и подмигнул.

– Ну что? – спросил он. – Что вы на это скажете, господа?

– Жан-Мари чрезвычайно правдив, он всегда говорит правду! – с горделивым видом, выпятив грудь вперед, заявил доктор.

– Он никогда не лжет! – подтвердила Анастази. – Это лучший мальчик, какого я когда-либо знала в своей жизни, – добавила она убежденно.

– Никогда не лжет! Неужели? – рассуждал как бы про себя Казимир. – Странно, весьма странно… Прошу тебя удостоить меня на некоторое время твоего милостивого внимания, мой юный друг, – продолжал он, снова обращаясь к Жа-

ну-Мари. – Скажи мне, тебе было известно об этих драгоценностях?

– Ну конечно! Ведь он же вместе со мной привез их из Франшара, – ответил за него доктор.

– Депрэ, – остановил доктора Казимир, – я ничего не прошу у тебя, как только одной милости: подержи ты некоторое время твой язык за зубами! Я намерен расспросить вот этого твоего маленького конюха кое о чем, и если ты так убежден в его невиновности, то ты смело можешь предоставить ему отвечать самому на мои вопросы. Итак, молодой человек, – продолжал Казимир, наведя свой монокль прямо на лицо Жана-Мари, – вы знали, что эти вещи могли быть безнаказанно украдены? Вы знали, что вас за это нельзя будет преследовать? Ну же, говорите! Знали вы это или нет?

– Знал, – сказал Жан-Мари почти шепотом.

Он сидел как на иголках, поминутно меняясь в лице, становясь поочередно то ярко-красным, то мертвенно-бледным, как меняющий цвета фонарь маяка. Он нервно ломал пальцы и глотал воздух, словно он задыхался или был близок к истерике. Словом, в глазах Казимира он представлял собою воплощенное сознание виновности.

– Вы знали, куда были убраны эти вещи? – продолжал свой допрос безжалостный инквизитор.

– Да, – вымолвил Жан-Мари.

– Вы говорите, что раньше вы были вором, – не унимался Казимир. – Но кто же поручится мне за то, что вы теперь

перестали быть вором? Я полагаю, что вы могли бы, в случае надобности, перелезть через зеленые ворота, не так ли?

– Да, – еще тише прежнего ответил допрашиваемый.

– Ну, значит, ты и украл эти драгоценности! Ты сам это отлично знаешь и даже не можешь этого отрицать. Посмотри мне прямо в лицо! Ну же! Подними на мена свои воровские глаза и отвечай!

Но вместо всякого ответа Жан-Мари разразился страшным ревом и бежал из беседки. Анастази кинулась за ним, желая нагнать беглеца и обласкать и успокоить бедного мальчика, но уже на ходу она все-таки крикнула брату:

– Казимир, ты просто грубый, бесчувственный зверь!

– Да, братец, – сказал в свою очередь и доктор с легким упреком и известным чувством собственного достоинства в тоне голоса, – ты позволяешь себе уж слишком большую вольность в данном случае…

– Что?.. Послушай, Депрэ, будь же ты хоть раз в жизни логичен, прошу тебя! Не ты ли телеграфируешь мне, чтобы я бросил все свои дела и ехал сюда к тебе для того, чтобы заняться устройством твоих дел. Я приезжаю, спрашиваю, в чем заключаются эти твои дела, и ты говоришь мне: «Меня обокрали, укажи мне вора!» Я нахожу этого вора, указываю тебе на него, как ты того хотел, и говорю тебе: вот он! Ты, конечно, вправе быть недовольным и раздосадованным тем, что все именно так вышло, но ты не имеешь решительно никакого основания упрекать меня в чем-либо или возмущать-

ся моим поведением.

– Пусть так, я, пожалуй, готов с тобой согласиться в этом, – сказал доктор, – я даже готов благодарить тебя за твое старание, хотя и ошибочное, но, во всяком случае, должен же и ты согласиться, что твое предположение положительно чудовищное и в высшей степени нелепое и неправдоподобное.

– Постой, – снова остановил его Казимир. – Кто из вас украл эти драгоценности? Ты или Стази?

– Ну, конечно, не она и не я! – ответил доктор.

– Так! Ну, значит, это сделал твой мальчишка конюх! А теперь не будем больше говорить об этом. – Казимир достал из кармана свой портсигар и стал выбирать сигару.

– Я скажу тебе еще вот что, – не унимался Депрэ. – Если бы ко мне пришел этот мальчик и сказал мне сам, что он украл эти вещи, я не поверил бы ему, а если бы поверил, то сказал бы себе в душе, что если он это сделал, то сделал с благою целью! Вот как велика и непоколебима моя вера в него!

– Ну что же, превосходно! – снисходительно промолвил Казимир. – Дай мне огня, мне уже пора ехать! Да, кстати, я желал бы, чтобы ты меня уполномочил продать твои турецкие акции. Я давно уже говорю тебе, что с ними дело пахнет крахом, и теперь я опять предупреждаю тебя: акции эти очень ненадежны. Я даже отчасти именно ради этого и приехал сюда сегодня. Ты никогда не отвечаешь на письма.

Сколько раз я писал тебе об этом, и как ты не можешь понять, что не отвечать на письма положительно непростительная привычка!

– Да-да, я знаю, что виноват перед тобой, но, добрейший мой Казимир, – ласково и мягко возразил Депрэ, – хотя я никогда не сомневался в твоей чрезвычайной деловитости, все же и твоя проницательность имеет свой предел.

– Ну, друг мой, я могу ответить тебе тем же! – воскликнул деловой человек. – Твой предел граничит прямо-таки с безрассудством!

– Нет, ты сделай милость, заметь разницу между нами, – возразил доктор, улыбаясь. – Твое правило безусловно доверять и в малом, и в большом, в серьезном деле, и в пустяках, суждению одного человека, то есть твоей почтенной особы. Я, в сущности, придерживаюсь, если хочешь, того же правила, но с той лишь разницей, что я к моим суждениям отношусь критически и смотрю на них открытыми глазами. Что из двух более рационально, предоставляю тебе судить самому.

– Ну, любезнейший мой, – воскликнул Казимир, – и я в свою очередь предоставляю тебе держаться твоих турецких акций и твоего честнейшего и благороднейшего конюха. И вообще, провалитесь вы все к черту со всеми вашими делами, управляйтесь с ними, как знаете и как умеете, а я умываю руки! А тебя прошу только об одном: не пускайся ты со мной ни в какие рассуждения и умствования, терпеть это-

го не могу. Философствования твои для меня положительно невыносимы, да мне и слушать-то их некогда! А в результате я мог бы и совсем не приезжать сюда, так как прока от этой моей поездки все равно никакого не вышло. Кланяйся от меня Стази, и если ты уж непременно того желаешь, то и твоему висельнику конюху, а мне пора! Прощай!

И Казимир уехал.

В этот вечер доктор по косточкам разобрал характер своего старого товарища и родственника в беседе с его сестрицей.

– Он научился только одному за все долгие годы его знакомства с твоим мужем, моя красавица, – сказал Депрэ, – он научился словам «философствовать» и «мудрствовать», и эти слова сияют точно алмазы в его речах, точно светляк в навозной куче. Да и то еще он употребляет их обыкновенно совершенно некстати и неуместно, как ты сама, вероятно, могла это заметить. Он употребляет эти слова в качестве бранных слов, придавая им смысл совершенно превратный. На его языке «философствовать» означает «лжемудрствовать»! Бедняга, по его мнению, все это пустые софизмы! Ну, а что касается его жестокого и неделикатного отношения к Жану-Мари, то это следует извинить – это лежит не в его натуре, а в натуре его рода деятельности. Человек, постоянно имеющий дело с деньгами и денежными расчетами, – человек пропащий! Тут ничего не поделаешь.

Но с Жаном-Мари не так легко было уладить это дело;

процесс примирения подвигался весьма медленно. Первоначально он был положительно неутешен, не хотел слушать никаких увещеваний, настаивал на том, что он уйдет из семьи доктора, и при этом несколько раз разражался слезами. Только после того как Анастази просидела с ним, запершись, целых полтора часа с глазу на глаз, ей удалось добиться от мальчика кое-какого снисхождения. Выйдя от него, она разыскала доктора и с полными слез глазами сообщила мужу о том, что между нею и Жаном-Мари произошло.

– Сначала он ничего и слышать не хотел, – рассказывала Анастази. – Вообрази себе, что бы это было, если бы он вдруг ушел от нас! Да что в сравнении с таким горем значит этот клад? Противный клад, ведь из-за него все это вышло! Бедняга так плакал, что, кажется, все сердце выплакал в слезах, и я плакала с ним, и только после того, после всех моих просьб и увещеваний он наконец согласился остаться с нами только на одном условии, а именно, что никто из нас никогда ни единым словом не упомянет об этом происшествии. Ни об этом возмутительном, постыдном подозрении, ни о самом факте кражи. Только на этом условии бедный мальчик, так жестоко пострадавший, соглашается остаться с нами, с его друзьями…

– Да, но ведь это воспрещение не может относиться ко мне; этот уговор не обязателен для меня, не правда ли? – встревожился доктор.

– Оно относится решительно ко всем нам, – сказала твер-

до Анастази.

– Но, ненаглядная моя, ты, вероятно, не так его поняла; это не может относиться ко мне! Он, без сомнения, сам придет ко мне с этим своим горем…

– Клянусь тебе, Анри, что это относится в равной мере и к тебе, как и ко мне и ко всем другим! – сказала жена.

– Это весьма, весьма прискорбное обстоятельство, – пробормотал доктор, и лицо его несколько омрачилось. – Я положительно огорчен, Анастази, уязвлен в моих лучших чувствах, обижен! Да, поверь мне, я глубоко ощущаю эту обиду.

– Я знала, что тебе это будет тяжело, – сказала жена, – но если бы ты только видел его горе и отчаяние! Мы должны сделать ему эту уступку, раз он на ней так настаивает; мы должны принести ему в жертву наши личные чувства.

– Надеюсь, моя милая, что ты никогда не имела основания усомниться в моей готовности всегда поступиться моими чувствами, когда это бывало нужно! – заметил доктор несколько сухо.

– Стало быть, я могу войти к нему и сказать, что ты выразил свое согласие? Это так на тебя похоже, мой славный, мой добрый Анри! В этом сказывается твое благородное сердце! – воскликнула Анастази.

«Да, действительно, – подумал он, – это докажет, какое у меня благородное сердце, какая у меня благородная натура!» И он разом повеселел и преисполнился чувства гордости своей добродетелью.

– Иди, возлюбленная моя, – проговорил он с чувством благородства, – иди и успокой его! Скажи, что вся эта история погребена навсегда! Нет, мало того, я сделаю над собою усилие – ведь ты знаешь, что я приучил свою волю подчинять себе мои чувства, – итак, я сделаю усилие, и все это будет забыто! Совершенно забыто! Так и скажи ему.

Немного погодя чрезвычайно сконфуженный, пристыженный и с опухшими от слез глазами в комнате снова появился Жан-Мари и с большим усердием принялся справлять свое дело. Из всех здесь собравшихся и севших в этот вечер за стол, чтобы поужинать, только он один чувствовал себя пришибленным и несчастным. Что же касается доктора, то он положительно сиял и пропел отходную своим сокровищам в следующих словах.

– В общей сложности, это был весьма забавный эпизод, – сказал он. – Мы ничего решительно от этого не потеряли, напротив, мы даже очень много выиграли. Во-первых, наша философия была испытана и поставлена, так сказать, на пробу. Во-вторых, у нас осталась еще малая толика этой вкуснейшей черепахи, самого полезного из лакомств и самого питательного; затем, я приобрел трость, Анастази – новое шелковое платье, а Жан-Мари является теперь счастливым обладателем кепи новейшего образца. Кроме всего этого, мы еще распили вчера по стаканчику нашего превосходного «Эрмитажа» – воспоминание о нем и теперь еще веселит мою душу. Я положительно скаредничал с этим «Эрмитажем», пусть

это послужит мне уроком! Кстати, одну бутылку мы распили, чтобы отпраздновать появление нашего призрачного богатства, так разопьем же теперь другую, чтобы почтить его исчезновение, а третью я предназначаю для свадебного завтрака Жана-Мари!

Глава VII. О том, как обрушился дом Депрэ

До сих пор мы еще не имели любезности удостоить дом доктора Депрэ подробного описания, и теперь, несомненно, пора исправить эту оплошность с нашей стороны, тем более что этот дом является, так сказать, действующим лицом в нашем рассказе, да еще таким, роль которого теперь почти подходит к концу. Дом этот был двухэтажный, окрашенный в густо-желтую краску, с коричневой разных тонов черепичной крышей, поросшей местами мхом и лишайником; он стоял в крайнем углу земельного участка доктора и выходил одним фасадом на улицу. Внутри он был просторный, но неудобный: везде гуляли сквозняки; балки на потолке были узорчатые, разукрашенные причудливыми рисунками; перила лестницы, ведущей наверх, были резные, изображавшие какие-то арабески в деревенском стиле; здоровенный деревянный столб, также резной, на манер причудливой колонны, поддерживавший потолок столовой, был изукрашен какими-то таинственными письменами, «рунами», по мнению доктора, который никогда не забывал, повествуя кому-нибудь легендарную историю этого дома и его владельцев, упомянуть и даже остановить внимание слушателя на некоем скандинавском ученом, будто бы оставившем эти письмена.

Полы, двери, рамы и потолки – все давно уже перекосилось и разошлось в разные стороны; каждая комната в доме имела свой уклон; гребень крыши совершенно накренился в сторону сада, на манер падающей башни в Пизе. Один из прежних хозяев этого жилища, опасаясь обвала дома, подпер его с этой стороны надежным контрфорсом. Короче говоря, множество признаков разрушения можно было насчитать в этом доме; и, вероятно, крысы бежали бы из него, как бегут с корабля, обреченного на гибель. Но содержался он в самой образцовой чистоте и порядке: оконные стекла всегда блестели, медные приборы дверей и оконных рам сияли как жар; краска дома постоянно обновлялась и освежалась, и даже сам деревянный контрфорс был весь увит цветущими вьющимися растениями. Благодаря этому образцовому содержанию, придававшему этому дому вид добродушного и веселого старого ветерана, пользующегося хорошим и любовным уходом и улыбающегося вам, сидя в своем кресле и греясь на солнышке в углу сада, только благодаря этому образцовому содержанию можно было, глядя на него, подумать, что в этом доме могут жить порядочные, с достатком люди. У других, более бедных и неряшливых хозяев, этот старый дом уже давно обратился бы в жалкую развалину, возбуждающую отвращение и вызывающую пренебрежение, но в том виде, в каком он был, вся семья очень его любила, и доктор никогда не уставал превозносить и восхвалять различные его достоинства. Он даже, почему-то особенно вдохновлялся и

воодушевлялся, когда начинал рассказывать воображаемую историю этого дома и расписывать характеры его последовательных владельцев, начиная с богатого торгаша еврея, впоследствии крупного капиталиста-коммерсанта, который будто бы вновь отстроил этот дом после разгрома города Гретца. Далее он упоминал непременно и о таинственном авторе мнимых «рун» и кончал длинный ряд вымышленных биографий длинноголовым мужчиной с вечно грязными ногтями и немытыми руками, от которого он сам приобрел этот дом и землю, будто бы втридорога! Никому никогда в голову не приходило высказывать какие-нибудь опасения относительно благонадежности этого дома; то, что простояло столько веков, могло, конечно, простоять и еще некоторое время!

Но в ту зиму, которая наступила после находки и исчезновения клада, семья Депрэ испытала еще иного рода тревогу и огорчение – тревогу, которую они принимали гораздо ближе к сердцу, чем всю эту историю с Франшарским кладом. Жан-Мари стал сам не свой: на него находила временами какая-то лихорадочная деятельность, и тогда он работал в доме за двоих, проявлял удивительное прилежание даже в своих учебных занятиях, изо всех сил старался угодить всем и даже силился быть словоохотливым, то есть говорил много и быстро. Но за такими днями наступали дни полнейшей апатии и глубокой меланхолии, дни молчаливого, глубокомысленного раздумья, и тогда мальчик становился почти невыносим.

– Теперь ты сама видишь, Анастази, – доказывал доктор, – к чему оно приводит, это молчание! Если бы мальчик вовремя открыл мне всю свою душу, то ничего подобного не было бы! И вся эта неприятная история, вызванная некрасивым поступком Казимира, была бы теперь давно забыта, тогда как теперь мысль об этом угнетает, давит и мучает мальчика, как какой-нибудь недуг. Он сильно худеет, аппетит у него неровный, здоровье уходит, замечается полное расстройство, и нервное, и физическое! Я держу его на строжайшей диете, даю ему самые сильные укрепляющие и успокаивающие средства, и все это напрасно!

– Уж не слишком ли ты его пичкаешь всякими лекарствами? – заметила Анастази и сама невольно вздрогнула при этом вопросе.

– Я? Пичкаю лекарствами? Я?! – воскликнул доктор. – Да ты с ума сошла, Анастази! Как ты можешь говорить такие вещи!

Время шло и состояние здоровья мальчика заметно ухудшалось. Доктор винил погоду, которая все время стояла холодная и бурная, но тем не менее пригласил своего коллегу из Буррона. Почему-то он вдруг возлюбил его, стал превозносить и восхвалять его дарование и вскоре сам обратился в его пациента, хотя трудно было бы сказать от чего он, собственно, лечился. И он, и Жан-Мари должны были постоянно принимать различные лекарства в разное время дня. Доктор завел привычку лежать на диване и ожидать времени

приема лекарства с часами в руках. «Ничто не может быть так важно, как точность и аккуратность», – говорил он, отсчитывая капли или отвешивая порошок и при этом распространяясь о великих целебных свойствах данного лекарства. Если мальчик, несмотря ни на что, нисколько не поправлялся, то доктор, с другой стороны, чувствовал себя отнюдь не хуже прежнего.

В День порохового заговора мальчик как-то особенно упал духом. Погода стояла отвратительная, пасмурная, дождливая с сильным порывистым ветром; над головой быстро проносились целые вереницы темных косматых туч; резкие проблески яркого солнца минутами заливали светом всю деревню, и вслед за тем наступали мгла и мрак и начинался крупный, косой и хлесткий дождь. Время от времени ветер, усиливаясь, начинал грозно выть и реветь; деревья вдоль полей и лугов гнулись и корчились, словно в судорогах, и последние осенние листочки неслись по дорогам, как пыль в жаркий летний день.

Доктор, озабоченный в одинаковой мере и состоянием мальчика, и состоянием погоды, был как раз в своей стихии – теперь он мог доказать еще новую теорию. Сидя с часами в руках и с барометром перед глазами, он выжидал с напряженным интересом каждый шквал ветра, наблюдая его действие на человеческий пульс. «Для истинного философа, – заметил он с восхищением, – каждое явление в природе является одновременно и забавой, и наукой». Ему при-

несли письмо, но в этот момент он ожидал нового порыва ветра и потому торопливо сунул письмо в карман, подал знак Жану-Мари, и в ту же минуту оба они принялись считать свой пульс, словно взапуски или на пари. К ночи ветер перешел в настоящую бурю, осаждая бедную деревушку со всех сторон; казалось, будто кругом шла пальба из орудий бесчисленных батарей; строения дрожали, скрипели и стонали, словно больные в агонии; из очагов и каминов выбивало в комнату дым и разбрасывало по полу горячие уголья. Шум и вой бури мешал людям спать, и все эти люди сидели с бледными испуганными лицами, прислушиваясь к тому, что происходило кругом.

Было уже за полночь, когда семейство Депрэ удалилось наконец на покой. Около половины второго, когда буря, уже достигнув своего апогея, стала как будто несколько стихать, доктор вдруг пробудился от тревожного сна и сел на своей постели. Какой-то странный шум еще звенел у него в ушах, но он не мог дать себе отчета, слышал ли он этот шум наяву или во сне. Вскоре последовал новый порыв ветра, и при этом ощутилось сильное колебание всего дома, вызвавшее у доктора состояние, сходное с приступом морской болезни, а в следующий затем момент затишья доктор явственно услышал, как черепицы крыши посыпались с шумом на чердак над его головой. Не теряя ни минуты, он буквально выхватил жену из кровати и крикнул ей:

– Беги! Дом рушится! Беги в сад! – И второпях сунул ей

в руки какие-то принадлежности туалета.

Она не стала дожидаться повторения этого приглашения. В одну минуту она сбежала с лестницы и была уже внизу. Никогда она не подозревала в себе такой прыткости и такой деятельности. Тем временем доктор с поспешностью и суетливостью марионетки из кукольной комедии, не смущаясь мыслью о возможности и риске сломать себе шею, кинулся вызволять Жана-Мари и Алину, которую он вынужден был пробудить от ее девственного сна, схватить за руку и силой тащить за собой по лестнице и в сад, Та, спотыкаясь, бессознательно бежала за доктором, все еще не вполне очнувшись и не сознавая, что вокруг нее происходит.

Все беглецы, точно условившись заранее, руководствуясь каким-то бессознательным инстинктом, собрались в беседке. Между гонимых ветром, разорванных клочков туч в образовавшийся просвет, словно в слуховое окно, на мгновение проглянула луна и осветила четыре полунагие фигуры, жавшиеся от холода и страха к стенкам зеленой беседки, с развевающимися от ветра белыми тканями, кое-как прикрывавшими их наготу. При виде этой позорной и унизительной картины Анастази с горестными воплями стянула вокруг себя свою ночную сорочку и, забившись в самый темный угол, громко расплакалась. Доктор кинулся к ней, желая ее утешить, совершенно забывая о своем жалком виде, но жена оттолкнула его сердито от себя, видимо стыдясь и за него и как будто избегая даже и его близости. Ей казалось, что все кру-

гом посторонние зрители, и что тьма, царящая кругом, кишит невидимыми жадными глазами, устремленными на нее.

Очередной свирепый порыв ветра с новым проблеском света отвлек внимание всех присутствующих в сторону дома; все видели, как он зашатался в самом своем основании и в тот момент, как скрылась луна, с оглушительным треском, покрывшим вой бури и шум деревьев, рухнул. На одно мгновение весь сад наполнился осколками летящих черепиц, щепок, разбитых оконных стекол и всякого рода обломками; один из таких оглушительных снарядов задел доктора по уху. Другой попал в голую ногу Алины, и та огласила дикими воплями всю деревню. Тем временем люди кругом зашевелились, стали выползать из своих домов, в окнах показались огни, послышались оклики дружеских встревоженных голосов, на которые отзывался доктор, благородно оспаривая первенство у Алины и ревущей кругом бури. Однако эта возможность помощи и содействия со стороны соседей и односельчан только пробудила в Анастази еще большие отчаяние и ужас.

– Анри! Люди сюда придут! – кричала она над самым ухом мужа. – Я не хочу! Я не могу!..

Но последние слова заглушали слезы.

– Да, я надеюсь, что они придут нам на помощь, это вполне естественно, друг мой.

– Нет, нет! Пусть не идут! Я лучше готова умереть! – рыдала она.

– Дорогая моя, – укоризненно сказал доктор, – ты слишком возбуждена и взволнована; ведь я же сунул тебе какую-то одежду, куда ты ее дела?

– Ах, я, право, не знаю, – я, вероятно, бросила где-нибудь по дороге в саду… Ах, где же, где эта одежда?

Депрэ стал искать ощупью в темноте и вскоре нашел.

– Вот превосходно-то! – воскликнул он. – Это мои серые бархатные брюки! Как раз то, что тебе нужно!

– Давай их сюда! – сердито закричала Анастази, но как только она взяла их в руки, мысль надеть мужские панталоны показалась ей чудовищной. С минуту она стояла молча, держа их в руках, затем сунула их обратно мужу и сказала: – Дай их Алине! Бедняжка, ведь она девушка…

– Глупости! – возразил доктор. – Алина ничего не сознает, она себя не помнит от страха, и кроме того, она простая крестьянка. Но я серьезно опасаюсь за тебя, ты такая неисправимая домоседка, тебе подвергать себя действию этого холодного ночного воздуха положительно опасно. Как видишь, и моя забота о твоем здоровье, и твоя фантастическая стыдливость клонятся к одному и тому же средству спасения – к моим панталонам. – И он снова протянул их к жене, держа совсем наготове.

– Нет, это невозможно, невозможно! – воскликнула она. – Ты этого не можешь понять, – добавила она с достоинством, – но не убеждай меня больше!

Тем временем уже подоспела помощь. Со стороны ули-

цы невозможно было проникнуть в сад, так как ворота и калитку завалило кирпичом и обломками балок, и устоявшие еще остатки дома ежеминутно грозили обрушиться и засыпать неосторожных, которые осмелились бы подойти слишком близко. Но, по счастью, между садом доктора и соседским огородом, лежащим вправо от владений Депрэ, находился живописный и столь полезный во многих случаях деревенской жизни общественный колодец. Оказалось, что калитка в ограде докторского сада была не заложена и не замкнута, и под сводчатым входом этой калитки, слегка приотворившейся, просунулась в щель сперва бородатая физиономия мужчины, а затем волосатая, мозолистая рабочая рука с фонарем, осветившим то таинственное царство мрака, где несчастная Анастази скрывала свое отчаяние. Свет ложился пятнами то тут, то там между корявыми и частыми стволами старых яблонь и груш, скользил по мокрым от росы и дождя лужайкам, но центром всеобщего внимания был не свет фонаря, а сам фонарь и ярко освещенное им лицо человека, явившегося на помощь пострадавшим. Только одна Анастази всячески старалась укрыться, спрятаться от него, забираясь в самый дальний и самый темный угол беседки, и испытывала болезненное, неприятное чувство от этого вторжения постороннего человека в пределы ее владений.

– Сюда, сюда! – кричал человек с фонарем остававшимся за его спиною людям. – Все ли вы живы? – спрашивал он находившихся в саду.

Алина, продолжая визжать, кинулась к вновь пришедшему, и ее тотчас же подхватили сильные руки и протащили в щель полузаваленной калитки головой вперед на улицу.

– Ну, Анастази, теперь иди ты, – сказал доктор, – теперь твоя очередь.

– Я не могу!.. Нет, нет, я не могу!.. Оставь меня, – простонала госпожа Депрэ.

– Неужели же нам всем из-за тебя тут погибать! – крикнул муж. – Оставаясь неодетым здесь, на таком холоде, можно простудиться и умереть!

– Нет, нет! Иди ты, иди пожалуйста! Уходите все, прошу вас, оставьте меня здесь; мне теперь совершенно тепло, уверяю тебя, Анри!

Но доктор в ответ на это крепко выругался и схватил жену за плечи.

– Постой, – умоляюще крикнула Анастази, – постой, я их надену!

И она опять взяла в руки одолженную ей принадлежность туалета, но отвращение к этого рода одежде взяло в ней верх даже над ее стыдливостью.

– Нет! Никогда! – воскликнула она, содрогаясь, и отбросила их далеко от себя.

Еще минута, и доктор силой поволок ее к калитке. Тут стоял крестьянин с фонарем. Анастази закрыла глаза, и ей казалось, что она умирает.

Она совершенно не помнила, как ее вынесли сквозь щель

калитки и как она очутилась по ту сторону стены. Здесь ее тотчас же обступили соседки и завернули ее в большое, теплое одеяло; таким образом, они положили конец ее мучениям и отчаянию.

Для обеих женщин приготовили кровати, а для доктора и Жана-Мари принесли всякого рода платье и приготовили теплый грог. Остаток ночи, пока Анастази дремала, а по временам, пробуждаясь, плакала и чуть не впадала в истерику. Доктор провел в кресле перед камином, услаждая слух внимавших ему с удивлением соседей, которым он подробно разъяснил причины катастрофы.

– Уже многие годы наш дом грозил рухнуть, – уверял он, – и я это знал, один признак за другим указывали на это: то ослабевали скобы, то появлялись трещины в штукатурке, то стены подавались внутрь или выпячивались местами наружу, а в конце концов, всего каких-нибудь три недели тому назад, тяжелая дубовая дверь моего винного погреба вдруг стала плохо, с трудом отворяться, вследствие того что сели и покосились косяки. Да, погреб! – повторил он озабоченно, сокрушенно покачав головой и на минуту призадумавшись над стаканом глинтвейна. – Ведь у меня там были порядочные запасы доброго вина. По счастью, судьба распорядилась так, что «Эрмитажа» там почти не осталось! Я потерял в этой катастрофе всего одну бутылку этого несравненного вина, ту, которую я предназначал к свадьбе Жана-Мари. Ну, что делать, придется позаботиться о новых запасах,

это придаст даже новый интерес жизни! Но вот что печально: я человек уже не в молодых годах, мне начинать все снова трудно, а мой громадный научный труд лежит теперь погребенным под развалинами моего скромного жилища. Он останется незаконченным, и мое имя никогда не увидит славы и известности, о которых я робко мечтал в тишине моего уединения! Все это я отлично сознаю и понимаю, и, тем не менее вы видите меня совершенно спокойным, я хотел бы даже сказать, веселым! Да, друзья мои, даже ваш патер не выказал бы большей покорности своей судьбе и большего стоицизма в подобном случае, не правда ли?

Тем временем стало светать, и с первыми лучами рассвета мужчины, теснившиеся до сих пор у камина, вышли на улицу. Ветер стих, но все еще гнал обрывки темных дождевых туч по мутно-серому небу. Воздух был резкий, режущий, точно морозный, и люди, стоя вокруг развалин обрушившегося дома, дули себе в кулаки, чтобы согреться, и кутались в свои одежды, чтобы защитить себя от пронизывающей сырости этого дождливого, пасмурного дня. Дом доктора Депрэ рухнул окончательно: стены обвалились наружу, а крыша ввалилась внутрь. Теперь он представлял собой просто груду мусора, среди которого там и сям торчали, словно шпили или мачты, обломки бревен и балок. Оставив подле развалин человека для охраны имущества, вся честная компания отправилась в гостиницу госпожи Тентальон разговеться и угоститься за счет пострадавшего. Чарочки весе-

ло заходили по столу, настроение у всех стало самое добродушное, а к тому времени, когда компания встала наконец из-за стола и собралась расходиться по домам, на дворе пошел снег.

В продолжение целых трех суток все время падал снег, развалины накрыли брезентами, а безотлучно находившиеся при них караульные никого к ним не допускали.

Семья Депрэ поселилась временно в гостинице госпожи Тентальон. Анастази проводила время на кухне, приготовляя кое-какие лакомые блюда для мужа при содействии восхищенной ее искусством и кулинарными познаниями госпожи Тентальон или же сидела неподвижно перед камином в глубокой задумчивости. Собственно говоря, постигшая их беда весьма мало трогала ее, быть может потому, что за этим ударом последовал другой, более чувствительный для бедной женщины. Сотни раз переживала она трагический в ее глазах инцидент с серыми бархатными штанами. Хорошо ли, правильно ли она поступила тогда, отказавшись надеть их? Или, быть может, она была не права и сделала дурно, что не надела их? Иногда она одобряла свое поведение в эту роковую ночь, иногда же, вся вспыхнув при воспоминании о перенесенном ею позоре, горько раскаивалась и сожалела о том, что не надела панталон. Ни один из случаев во всей ее жизни не вызывал у нее стольких размышлений и столь продолжительной умственной работы. Тем временем доктор казался весьма доволен своим новым положением. Двое из лет-

них жильцов госпожи Тентальон застряли, отстав от остальных своих товарищей, за отсутствием средств для выезда, так как им почему-то не высылали денег. Оба они были англичане, но один из них довольно свободно и бегло изъяснялся по-французски и был к тому же человеком словоохотливым, большим юмористом, живым и веселым малым. С ним доктор мог беседовать часами, заранее уверенный в том, что он будет понят и оценен. Много стаканчиков распили они вместе и много различных тем обсудили к обоюдному удовольствию.

– Анастази, – почти укоризненно сказал жене доктор на третьи сутки после катастрофы, – бери пример со своего мужа и Жана-Мари! Как ты видишь, возбуждение той ночи принесло ему больше пользы, чем все мои микстуры и всевозможные укрепляющие средства, и я замечаю, что он с положительной охотой отбывает свои часы дежурства в качестве охранителя нашего погибшего имущества. А что касается меня, то посмотри на меня – видишь, я сдружился с этими египтянами, и клянусь небом, что мой фараон весьма приятный собеседник. Только ты одна пала духом из-за обрушившегося дома и кое-какого тряпья! Что все это в сравнении с моей «Фармакопеей», моим многолетним научным трудом, который лежит теперь, погребенный под мусором и камнями в этой жалкой деревушке. Что из того, что падает снег! Я весело стряхиваю его с моей одежды! Подражай мне и ты! Я знаю, что наши доходы теперь несколько уменьшат-

ся, так как нам придется заново отстраивать дом, но с умеренностью, аккуратностью, терпением и философией можно все преодолеть и со всем примириться. А пока Тентальоны внимательны и услужливы, стол с теми приятными добавлениями, которые ты нам доставляешь, весьма удовлетворителен. Вот только вино нестерпимо скверное, но я сегодня же выпишу хорошего вина, и мой фараон, я уверен, будет весьма рад выпить со мной стаканчик-другой приличного вина! И тут-то мы увидим, одарен ли он от природы высшей утонченностью человеческого организма – чувствительным нёбом, способным уловить тонкий аромат и вкус вина! Если еще и это, то он прямо-таки совершенство!

– Анри, – сказала жена, печально качая головой, – ты не можешь этого понять, ты мужчина, и мои чувства для тебя недоступны. Ни одна женщина не в состоянии изгнать из своей памяти пережитый ею позор и унижение, публичное унижение!

Доктор не смог удержаться и захихикал.

– Прости меня, возлюбленная моя, но, право, для философски настроенного ума это такие пустяки, что о них даже говорить и упоминать не стоит. И, кроме того, могу тебя уверить, ты была чрезвычайно мила в твоем ночном дезабилье.

– Анри! – возмущенно воскликнула она.

– Ну-ну, я ничего больше не скажу, – поспешил он успокоить жену, – хотя, конечно, если бы ты тогда согласилась… ну да… Кстати, – вдруг прервал он себя, – а где же остались

эти мои штаны? Мои любимейшие серые брюки? Верно, лежат там на снегу! – И он кинулся разыскивать Жана-Мари.

Два часа спустя мальчик вернулся в гостиницу с лопаткой в одной руке и странного вида комком платья в другой.

С сокрушенным видом принял доктор этот бесформенный комок из рук мальчика и прочувствованным голосом сказал:

– Они были когда-то брюками! Но теперь их время прошло, их песня спета! Прекрасные панталоны, вы уже больше не существуете! Постой, тут что-то есть в кармане! – И он вытащил смятый комок бумаги. – Письмо! – воскликнул он. – Ну да, я теперь припоминаю, я получил его в самый день катастрофы, когда так свирепствовала буря и я был занят своими наблюдениями. Но, к счастью, письмо еще сохранилось довольно хорошо, так что его можно разобрать. Это от добрейшего бедняги Казимира! Ну, да это не-плохо, что я приучу его немножечко к терпению! – продолжал он с ироническим смешком. – Это ему весьма полезно. Бедняга Казимир с этой своей бесконечной, глупой, пустой, ненужной корреспонденцией доходит прямо до идиотизма. – И, говоря это, доктор осторожно развернул мокрое, отсыревшее письмо, но когда он принялся разбирать его, лицо его сразу омрачилось.

– Bigre! – воскликнул он, вскочив, точно его подкинуло гальваническим током.

Письмо полетело в огонь камина, и в тот же момент его

черная ермолка очутилась у него на голове, и он направился к двери.

– Еще десять минут осталось! Если я бегом побегу, то могу еще захватить его, он всегда опаздывает, этот поезд, – бормотал доктор. – Я еду сейчас в Париж, буду телеграфировать оттуда, – добавил он на бегу.

– Анри, ради Бога, скажи, что случилось! – молила жена.

– Турецкие акции! – крикнул он. – Турецкие… акции… – И он исчез за дверью.

Анастази и Жан-Мари остались с мокрыми серыми брюками в руках в полном недоумении. Депрэ уехал в Париж! Это было всего второй раз за все семь лет пребывания его в Гретце, и уехал в деревянных крестьянских башмаках, в вязаной фуфайке и черной рабочей блузе, в ермолке вместо шляпы на голове и с двадцатью франками в кармане. Теперь даже разрушение дома являлось событием второстепенной важности. Пусть бы теперь обрушился весь мир, и тогда бы семья доктора не была более удивлена и поражена, чем в настоящий момент.

Глава VIII. Вознаграждение философии

На утро следующего дня доктор, или, вернее, тень прежнего жизнерадостного доктора Депрэ была доставлена обратно в Гретц под охраной Казимира. Анастази и Жан-Мари сидели друг подле друга перед камином, когда Депрэ, заменивший свой фантастический наряд дешевеньким готовым костюмом, изготовленным из грошового материала, переступив порог комнаты, только рукой махнул и, не проронив ни слова, тяжело опустился на ближайший стул. Анастази вскочила со своего места и обратилась прямо к Казимиру.

– Что случилось? – спросила она.

– Да что, – ответил Казимир, – не говорил ли я вам все время, не предупреждал ли я вас! Так нет! Ну вот, а теперь и случилось, как я вам говорил. И на этот раз дело обделано чистенько! Что называется, наголо всех остригли! Что же, придется вам примириться и с самым худшим, ничего тут не поделаешь. Да и дом ваш тоже повалился? Ну, нечего сказать, хороши ваши дела! Не везет вам, я вижу!

– Разве… разве мы все потеряли? Совершенно разорились? – задыхаясь, спросила бедная женщина.

В этот момент доктор протянул вперед свои руки, как бы призывая жену в свои объятия, и патетически воскликнул:

– Да, разорились! Да, мой ангел, твой злополучный муж окончательно разорил тебя!

Казимир иронически смотрел через стеклышко своего монокля на нежные объятия удрученных супругов и, обращаясь к Жану-Мари, тем же насмешливым тоном сказал:

– Слышишь, молодчик, они вконец разорились, теперь от них ничем больше не поживишься! Ни денег, ни дома, ни жирных кусков! И мне думается, друг мой, что тебе всего лучше, не долго думая, забрать свои пожитки да и убираться отсюда подобру-поздорову. Как видишь, эта спекуляция теперь выеденного яйца не стоит; она, можно сказать, окончательно прогорела!

При этом Казимир лукаво прищурился и многозначительно кивнул мальчику на дверь.

– Ни за что на свете! – воскликнул доктор, вскочив с места. – Жан-Мари, если ты хочешь меня покинуть теперь, когда мы разорились и стали беднее любого крестьянина в этой деревне, я тебе не препятствую, иди с Богом! Ты получишь от меня обещанные тебе сто франков, если только они найдутся у меня, но если ты захочешь остаться с нами, – и доктор немного всплакнул, – то Казимир предлагает мне место писца, и хотя вознаграждение будет скромное, но на нас троих его хватит. Не достаточно ли того, что я потерял дом, имущество и свое состояние? Неужели я еще должен лишиться и сына?!

Жан-Мари горько плакал, но не произнес ни одного слова.

– Терпеть не могу мальчишек, которые плачут, – досадливо заметил Казимир, – а этот постоянно ревет. Эй ты, слушай, убирайся-ка ты пока вон отсюда! У меня есть серьезные дела, о которых мне нужно поговорить с твоим хозяином и хозяйкой, а эти ваши семейные чувства вы успеете выяснить и после моего отъезда. Ну, марш, живо! – И он раскрыл дверь выразительным жестом.

Жан-Мари выбрался из комнаты, точно уличенный вор, не переставая плакать. В двенадцать часов все сели за стол, но Жана-Мари не было.

– Эге, брат, ушел твой мальчик-то? Ну что, сам теперь видишь? – сказал Казимир. – Небось с полуслова понял?

– Я, конечно, сознаю, – залепетал несвязно доктор, – сознаю и не ищу оправданий для его отсутствия; это, конечно, доказывает отсутствие в нем сердечности, что меня глубоко огорчает…

– Ты лучше скажи «отсутствие чувства приличия», – поправил его Казимир, – потому что сердечности в нем никогда и не было и быть не могло. И откуда ему было взять подобные качества? Право, Депрэ, для человека умного, каким я тебя считаю, ты удивительно, можно сказать, непростительно наивен! Ты положительно легковернейший из смертных на всем земном шаре. Твое полнейшее неведение и непонимание ни людей, ни дел – буквально непостижимо! Все тебя надувают, обманывают и проводят. И твои турецкие акции, и бродяга-мальчишка, и всякий, кто только вздумает! Тебя

обманывают и справа, и слева, и снизу, и сверху, и ты все еще продолжаешь всем верить и всему доверять! Я полагаю, что тому главной причиной твое воображение. Благодарю судьбу, что она не наделила меня этим опасным даром!

– Прости, пожалуйста, – возразил Депрэ хотя все еще смиренным тоном, но уже несколько приободрившись ввиду неожиданно представившегося ему случая указать Казимиру его ошибки, – ты весьма ошибаешься, Казимир! Ты одарен даже в очень сильной степени воображением, но воображением иного рода, так сказать, коммерческим воображением. Отсутствие именно вот этого воображения у меня и является, по-видимому, источником всех моих настоящих бедствий. Путем такого коммерческого воображения вы, деловые, денежные люди, умеете предвидеть и предугадать судьбы ваших вкладов, предвидеть момент крахов известных предприятий, банков и банкирских домов, словом, всякого рода финансовые катастрофы.

– А как видно, и твой конюх тоже одарен таким же коммерческим воображением, – прервал доктора Казимир, после чего доктор смолк и обед продолжался и окончился под аккомпанемент не особенно утешительных и приятных для хозяев речей самоуверенного гостя. Он совершенно игнорировал присутствие двух молодых англичан-художников, не ответил даже на их поклон, хотя и посмотрел на них сквозь стеклышко своего монокля. Не стесняясь их присутствия, он продолжал делать свои далеко не всегда деликатные замеча-

ния, как будто он был один или в тесном кругу своей семьи. Через каждые два слова он как будто умышленно наносил все новые и новые уколы самолюбию бедного Депрэ, всячески стараясь уязвить его, так что под конец обеда, когда подали кофе, доктор совершенно размяк и упал духом.

– Пойдем взглянуть на развалины! – сказал Казимир, вставая из-за стола.

Депрэ беспрекословно повиновался, и они вышли на улицу. Обрушившийся дом образовал пустое место между строениями деревни, и как выпавший передний зуб во рту изменяет и обезображивает физиономию, так и это пустое место безобразило деревню. За ним виднелось покрытое снегом поле на большом протяжении, и по сравнению с этим большим пространством пробел между постройками на месте рухнувшего дома казался столь незначительным, что производил впечатление открытой в большую комнату двери. У стоявших еще на своем месте зеленых ворот сторожил весь красный от холода и иззябший на ветру очередной караульный. Он встретил доктора и его богатого родственника приветливым словом и добродушной улыбкой.

Казимир деловито окинул взглядом груду развалин, брезгливо, но с видом знатока пощупал брезент, желая определить его качество, и затем сказал:

– Хм!.. Я полагаю, что своды твоего погреба устояли; если так, то, любезнейший братец, знай, что я дам тебе хорошую цену за твое вино, потому что вино у тебя было действитель-

но хорошее.

– Мы завтра же начнем раскопки! – сказал караульный весело и добродушно. – Теперь уж нечего больше ждать снега, погода стала как будто проясняться.

– А ты бы сперва спросил, любезный, заплатят ли тебе за твои труды! – язвительно заметил Казимир. – Может быть, нечем будет заплатить-то.

Добродушный крестьянин только рот разинул, но ничего не возразил, а доктор болезненно поморщился, нахмурился и поспешил увлечь своего неприятного и во многих отношениях неудобного шурина к гостинице госпожи Тентальон, где все же было меньше посторонних слушателей, а те, что там были, уже знали о постигшем его несчастье.

– Смотри! – вдруг крикнул Казимир. – Вон твой конюх пробирается со своими пожитками… Ан, нет! Он их тащит в гостиницу!

Действительно, Жан-Мари перебирался через покрытую снегом улицу к гостинице, спотыкаясь и чуть не падая под тяжестью большущей корзины. Вдруг доктор остановился как вкопанный, и в душе его зародилась безумная надежда.

– Что это он тащит? – промолвил он. – Надо пойти посмотреть. – И он ускорил шаги.

– Что? Ну, разумеется, свои пожитки! Видно, немало он прикопил и припрятал всякого добра, живя у тебя, – ядовито заметил Казимир, – и благодаря его коммерческому воображению его дела, надо думать, обстоят недурно.

– Я что-то очень давно не видел этой большой корзины, – как бы про себя сказал доктор.

– Да и теперь недолго полюбуешься на нее, – засмеялся Казимир, – если только мы не вмешаемся в это дело. Что касается меня, то я положительно настаиваю на обыске! Надо же знать, чего он туда наложил!

– И без обыска узнаешь! – с рыданием в голосе воскликнул Депрэ, и, кинув на Казимира торжествующий, влажный от слез взгляд, он бросился бежать.

– Кой черт! Что с ним такое делается? Понять не могу! – пробормотал Казимир, и в следующий момент, подстрекаемый любопытством, по примеру доктора он тоже пустился бежать.

Громадная корзина была так велика и так тяжела, а Жан-Мари такой маленький, слабенький и истощенный, что ему потребовалось очень много времени, чтобы втащить свою ношу наверх, в комнату, занимаемую Депрэ. Он едва только успел опустить ее на пол и поставить перед Анастази, как прибежал доктор и следом за ним Казимир. И корзина, и мальчик были в самом плачевном виде; первая потому, что пробыла целых четыре месяца зарытая в пещере, что на дороге в Ашер, а последний потому, что бегом пробежал целых пять миль на своих слабых ножонках, не переводя духа, и половину этого расстояния под непосильной ношей.

– Жан-Мари! – воскликнул доктор блаженным голосом, в котором звучали истерические нотки. – Неужели это?..

Неужели это?.. О сын мой! Сын мой!.. – И, опустившись на корзину, он заплакал, всхлипывая, как ребенок.

– Ведь теперь вы не переедете в Париж? – робко спросил мальчик.

– Казимир! – громко сказал Депрэ, подняв на шурина свое мокрое от слез лицо. – Видишь ты теперь этого мальчика? Этого ангела?! И он вор?! Да, он отнял сокровища у человека, обезумевшего, потерявшего голову и рассудок и не способного разумно распорядиться ими; но он приносит их обратно и отдает их мне, когда я протрезвился от угара и когда я действительно нуждаюсь в них. Вот, Казимир, плоды моего воспитания! Этот момент вознаградил меня за все!

– Нда-а… – протянул Казимир.